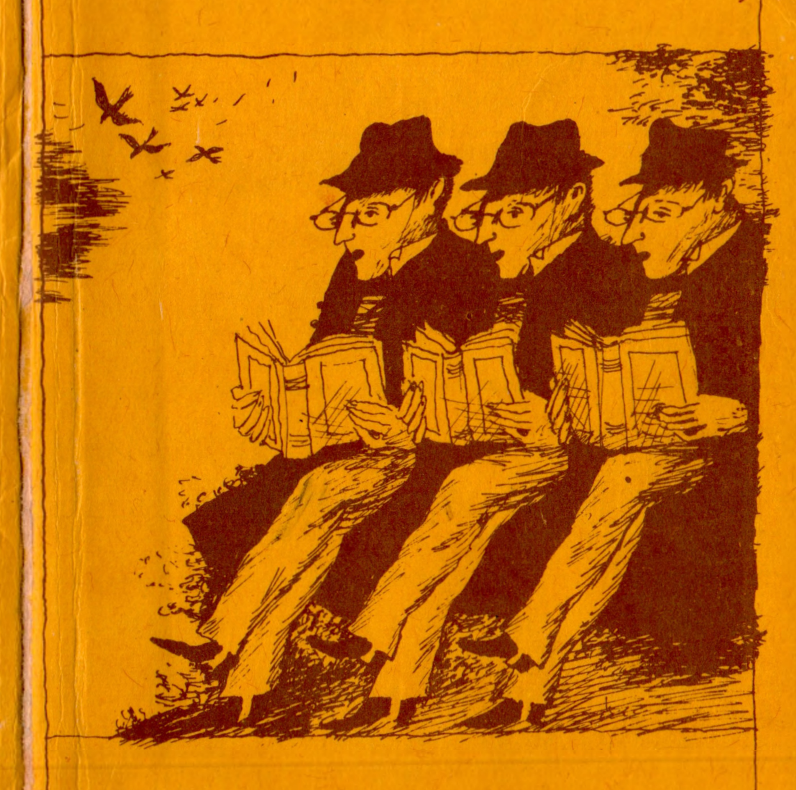
КНИЖНЫЕ СТРАСТИ

КНИЖНЫЕ СТРАСТИ

Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках



«КНИГА»

КНИЖНЫЕ СТРАСТИ

Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках



МОСКВА «КНИГА» 1987

ББК 84.4
К 66

Составление, вступительная статья
и примечания *А. В. Блюма*
Рецензент *М. О. Чудакова*,
доктор филологических наук
Художник *Д. Ф. Терехов*

К $\frac{4702010000-061}{002(01)-87}$ Изд. ВОК

ОТ КАНТЕМИРА ДО НАШИХ ДНЕЙ

...Переплет не златом,
а внутрь добром блестит.
К. Ф. Рылеев

В последние годы появилось много антологий и сборников, в которых помещены произведения отечественной и мировой литературы, посвященные книге, чтению и библиофильству. За редчайшими исключениями, такие сборники представили тексты, носящие дифирамбический, апологетический характер, начиная с «Прославления писцов», написанного безвестным древнеегипетским автором в XIII веке до нашей эры. Это вполне естественно и объяснимо, особенно если принять во внимание ту выдающуюся роль, которую играла (и, надеемся, будет еще долго играть) книга в духовной жизни человечества. «Книговедческий» пласт мировой прозы и поэзии однако же так велик и разнообразен, что вряд ли когда-нибудь исчерпается.

В нашем сборнике представлен особый слой отечественной литературы, который условно можно было бы назвать «библиосатирой». Под ней составитель меньше всего понимает «книжную сатиру» или «сатиру на книги». В конце концов, книга, какое определение мы бы ей не дали («воплощенный видимый знак», «особый способ закрепления и передачи семантической информации» и т. д.), ни в чем не виновата. Виноваты—авторы, написавшие плохую, никчемную книгу; издатели, выпустившие ее в свет; книготорговцы, увидевшие в ней лишь ходкий товар; художники и типографы, безвкусно ее оформив-

шие и неряшливо напечатавшие; тщеславные библиоманы, гоняющиеся за пустячными «униками» или модными, престижными изданиями. И прежде всего, в самой большой степени виноваты (хотя часто это не вина их, а беда) читатели, которые не сумели или не захотели воспользоваться неотъемлемым правом—правом свободы выбора духовной пищи. Очень точно, хотя, может быть, с излишне грубоватой прямотой, выразил эту мысль мастер блестящих афоризмов, деятель немецкого Просвещения XVIII века Георг Лихтенберг: «Если при столкновении книги с головой раздастся пустой звук, то всегда ли виновата книга?»

Первому «виновнику»—автору—посвящены тысячи эпиграмм, пародий, шуточных эпитафий и т. д.

Но нас интересуют в данном случае другие участники единого процесса, которых не обошли вниманием отечественные писатели-сатирики,—профессиональные книжные работники (издатели, книгопродавцы, библиотекари), читатели, коллекционеры книг. По словам В. Г. Белинского, «сатирическое направление со времен Кантемира сделалось живою струею всей русской литературы»[1].

Пристально вглядываются писатели в лица тех, кому доверена дальнейшая судьба их детища. Каковы они? Всегда ли достойны они восхищения и уважения? Арсений Тарковский прекрасно определил характерную особенность бытования книги в русской читательской среде: «Книга в русской традиции никогда не служила забавным

[1] Белинский В. Г. Полн. собр. соч. М., 1955. Т. 8. С. 615.

пустячком, игрушкой, украшением жизни»[1]. Вот это серьезное отношение к печатному слову и вызвало к жизни довольно большое число «библиосатирических» произведений различного жанра. В силу давней исторической традиции, восходящей к первым памятникам русской письменности («Изборнику Святослава», «Лаврентьевской летописи» и т. д.), книга в России всегда была окружена ореолом глубочайшего уважения. Вот почему чуть ли не кощунством считалось многими отечественными поэтами и прозаиками любое проявление равнодушия к книге, отношение к книге как к вещи.

Это последнее особенно возмущало сатириков. Уже в середине XVIII века на сцену выводятся многочисленные «Книголюбовы» и «Книгопрятовы», собирательные образы вертопрахов, любящих в книгах «один лишь переплет», но никогда в них не заглядывающих. Молодые щеголи, следуя модному поверию, скупают книги «аршинами» у книгопродавцев, украшают ими свои апартаменты, хвастаются перед своими друзьями (см. эпиграммы А. А. Нартова, С. А. Тучкова и ряда безвестных авторов новиковских сатирических журналов). Русские писатели-просветители отмечают явление, известное со времен глубокой античности. Еще философ Сенека с горечью спрашивал своих современников: «Чем можно извинить человека, покупающего шкафы из самого дорогого дерева и из слоновой кости, ищущего повсюду собрания сочинений или неизвестных авторов, или не заслуживающих одобрения и вместе с тем зевающего среди стольких

[1] Тарковский А. Держава книги//Альманах библиофила. М., 1979. Вып. 7. С. 19.

тысяч своих книг, в которых ему нравятся только обрезы и заглавия? У совершенных бездельников можно видеть полную коллекцию ораторов и историков на полках, уходящих под самый потолок; теперь даже в самых банях и термах устраивают библиотеку, как необходимое украшение дома»[1]. Некоторое удивление, возможно, вызовет у современного читателя неожиданный пассаж в древнерусском рукописном сборнике «Пчела», датируемом XV веком: «Тавлеи и шахы (шахматы и шашки) в многы вас обретаемы суть, а книг ни в кого же, разве и в малых (разве лишь у немногих), но и ти таки же, яко же и не емлюще (такие же, как и не имеющие), сгноуваше бо (складывают их) и кладут в лари, а все им тщание на харатийную тонкоту и на грамотную красоту (вся их забота лишь в тонкости пергамена и красоте письма), а о чтении не пекутся. Не душевные пользы ради стяжают книгы, но хотяше явити богатство свое и гордость. Тако приумножися в них тщеславие...»[2]. Что ж, некоторые современные «книголюбы» узнают себя в образе, нарисованном безвестным древнерусским автором полтысячелетия назад. Как известно, «мода на книгу» (кажется, сейчас уже наметился некоторый спад) вызвала у определенной части «книголюбов» потребительское к ней отношение. Современные «книгопрятовы» гордятся своими собраниями престижных и «дефицитных» изданий, в которые они попросту не заглядывают. Но, как говорится, ничто не ново под

[1] См.: Малеин. А. О библиофильстве в древности// Альманах библиофила. Л., 1929. С. 13—14.
[2] См.: Семенов В. Древняя русская «Пчела» по пергаменному списку. Спб., 1893. С. 163.

луной... Их предшественники едко высмеяны русскими сатириками XVIII века.

Сатирические выпады против библиоманов продолжаются и в XIX веке, но к его концу и особенно к началу XX столетия приобретают несколько иную тональность и меняют свой адрес. Русских писателей волнует и настораживает другая крайность—«книжная гипертрофия», стремление «проученных насквозь» людей подчинить книге всю свою жизнь, все помыслы и желания. На сцену выводится фигура одинокого, как правило, человека, которому старые редкие книги заменяют все—дом, семью, друзей, природу. Они живут в каком-то выдуманном, полуреальном мире, отгородившись от жизни шкафами, набитыми редкостями: «мертвые книги съедают живую жизнь». Такие типы библиофилов, которым не откажешь в огромной учености, выведены, например, в повести Д. И. Стахеева «Пустынножитель», в рассказе П. П. Гнедича «Книжная пыль» и других произведениях.

Полная их противоположность—владельцы некоторых родовых дворянских библиотек, выведенные в сатирических очерках С. Р. Минцлова «За мертвыми душами». В сборнике представлена лишь одна из двенадцати новелл, вошедших в эту книгу, но и она достаточно выразительно и точно рисует картину нравственного оскудения в среде поместного дворянства, отсутствие интереса к ценностям культуры, собранным их предками. Для таких владельцев книга—только обуза; в лучшем случае, она служит украшением. Владельцы «мертвых душ» и не догадываются, что когда-то эти «души» были «живыми», будили мысль и чувство, вызывали слезы восторга... Написаны очерки на основе личных

впечатлений автора, объехавшего в начале века уездную Россию в поисках старинных книг.

Образы библиофилов и библиоманов запечатлены в ряде сатирических произведений советских писателей двадцатых годов. Прежде всего следует вспомнить повесть С. Ф. Буданцева «Японская дуэль»[1] и романы К. К. Вагинова «Труды и дни Свистонова», «Козлиная песнь», «Бамбочада»[2]. В них выведена целая галерея «растерявшихся интеллигентов» того времени, тщетно пытавшихся уйти в мир старинной книжности, укрыться в нем от «горячей действительности». Несомненно, эти произведения стали бы украшением сатирической антологии, но большой объем не позволил включить их в наш сборник. Публикация же отрывков в данном случае вряд ли имеет смысл.

Двадцатые годы нашего века представлены некоторыми образцами «библиофильского фольклора», расцветшего тогда в недрах Русского общества друзей книги и Ленинградского общества библиофилов (послания и эпиграммы А. А. Сидорова и Э. Ф. Голлербаха). Правда, скорее их можно отнести к юмору, чем к сатире, ибо они носят характер дружеской шутливой пикировки[3]. Большие затруднения испытал со-

[1] Фрагмент повести включен в сборник «Вечные спутники». (М., 1983).

[2] Подробнее о сатирических романах К. К. Вагинова см.: Альманах библиофила. М., 1977. Вып. 4. С. 217—235.

[3] Напомним читателю,что этот жанр имеет давние традиции в русской литературе. Особенно прославился на поприще создания библиофильских пародий и эпиграмм поэт и крупный библиофил С. А. Соболевский (эпиграммы на Г. Н. Геннади, Я. Ф. Березина-Ширяева и других собирателей и библиофилов). См.: Кунин В. В. Библиофилы пушкинской поры. М., 1979.

ставитель при поиске аналогичных произведений в современной литературе. Нельзя сказать, что эта благодатнейшая для сатирика тема вообще не затронута в ней (в прессе появились десятки эпиграмм, фельетонов, юморесок, высмеивающих новоявленных «любителей книги», набивающих полки престижными изданиями), но, к сожалению, она не получила пока адекватного художественного воплощения. В качестве удачного образца этого жанра представлен лишь рассказ А. М. Арканова «Эрудиция с шиньоном»[1].

На рубеже XVIII—XIX веков в русской литературе появляется новый персонаж—профессиональный работник книжного дела: книгоиздатель, книгопродавец, типограф (следует учесть, что все эти три профессии тогда объединялись, как правило, в одном лице). Представители книжных профессий входят в сферу общественного внимания, становятся известны публике. Интерес к ним объясняется тем, что они не были так «отчуждены» от писателя и читателя, как это стало наблюдаться позднее. Они вводятся в саму структуру художественного произведения, становятся активными участниками действия. Вначале о них говорится в отвлеченном, преимущественно публицистическом плане, но затем они «персонифицируются» и действуют нередко под собственными именами.

[1] Следует назвать и повесть В. С. Маканина «Старые книги», вошедшую в одноименный сборник повестей и рассказов писателя (М., 1976). В ней изображены и откровенные жулики и аферисты разного калибра, греющие руки на повальном увлечении книгами и рядящиеся в тогу «истинных ценителей», и ученые — знатоки старинных книг и рукописей, вынужденные общаться с этой малопривлекательной публикой.

Чаще всего персонажами становятся крупнейшие книгоиздатели первой половины XIX века — В. А. Плавильщиков, Глазуновы и конечно же А. Ф. Смирдин, которому посвящен ряд очерков О. И. Сенковского («Барона Брамбеуса»). Примечательно, что местом действия многих водевилей той поры, как удалось выяснить, избирается книжная лавка, причем владелец ее, естественно, играет в них не последнюю роль. В нашем сборнике представлены отрывки из комедии А. С. Грибоедова и П. А. Катенина «Студент» и водевиля П. А. Каратыгина «Авось, или Сцены в книжной лавке».

«Торгово-промышленное направление», которое стало приобретать книжное дело в 30—40-х годах прошлого века, вызвало острую реакцию в писательской среде. Наиболее ярким выразителем ее стал Н. А. Некрасов, великолепно знавший книжный и журнальный мир Петербурга. Претерпев множество мытарств в молодые годы, в пору хождения по редакциям журналов и книжным лавкам, Некрасов в своих ранних романах создал подлинную «физиологию» книжного «дна» столицы. Чередой проходят в его романах 40-х годов («Жизнь и похождения Тихона Тростникова», «Три страны света» — отрывки из последнего вошли в сборник) и оборотистые купцы, решившие погреть руки на ходком «литературном товаре», и литературные поденщики, жаждущие поставить им нужный «товар», и неудачливые, неизменно разоряющиеся коммерсанты, ровным счетом ничего в литературе не понимающие, чем и пользуются прожженные журналисты («литературные тли», как назвал их в одноименном фельетоне И. И. Панаев).

Поиски такого рода сюжетов в литературе

второй половины XIX века дали немного в интересующем нас плане. Читатель найдет в сборнике балладу-утопию Д. Д. Минаева «Через 25 лет», посвященную начальному этапу карьеры издателя «Нового времени» А. С. Суворина, и рассказ А. П. Чехова «История одного торгового предприятия», в котором высмеян обыватель-«прогрессист», решивший заняться на благо сограждан книжным делом.

Главное же место в сборнике отведено сатирическим произведениям, посвященным читателю. По словам Гегеля, «любое произведение искусства представляет собой диалог с каждым стоящим перед ним человеком»[1]. Это положение полностью распространяется и на отношение человека к литературному произведению как таковому. Давно уже отмечена, в частности, «диалогичность» русской литературы, ее обращенность к читателю, стремление как бы вовлечь его в непосредственный разговор. Такое «сотворчество»—одна из примечательных черт отечественной словесности. Нередко читатель становится основным героем произведения: ему посвящают рассказы, очерки, эпиграммы, сатирические зарисовки и т. д. Круг, характер, манера чтения современников—все это вызывает жгучий интерес художников слова, ибо как нельзя более точно характеризует духовный и нравственный климат времени; это время как бы высвечивается сквозь призму литературных пристрастий и антипатий.

Не все, конечно, вызывает уважение и, тем более, восхищение в удивительно сложном и пестром читательском мире. Есть в нем место

[1] Гегель Г. Эстетика. М., 1968. Т. 1. С. 274.

и читателям-верхоглядам, и поклонникам модного чтива, и читателям-«архаистам», не любящим ничего нового, и рафинированным снобам. Целая галерея такого рода читателей выведена на страницах русской сатиры XVIII—XX веков.

Они изображены, причем весьма едко, во многих рассказах, фельетонах, эпиграммах, шуточных эпитафиях, баснях и т. д. Но для авторов, прибегавших к этим жанрам, меньше всего характерна позиция холодного наблюдателя, с презрением глядящего на мирскую суету (исключение представляет собой, пожалуй, лишь один «Барон Брамбеус», этот «Вольтер толкучего рынка», как иронически называли Сенковского его литературные противники). Отталкиваясь от негативных явлений читательского мира, они средствами сатиры рисуют образ вдумчивого читателя, человека «с незахлопнутой душой», «читателя-друга», о котором мечтал М. Е. Салтыков-Щедрин.

Хрестоматийными стали уже инвективы против книги и чтения, вложенные в уста Скалозуба, Фамусова, Загорецкого. Однако у этих «идейных» противников чтения в русском литературном наследии имеются и свои предшественники, и свои последователи. Таковы Медор и Лука в сатирах Кантемира, адресаты анонимных эпиграмм поэтов XVIII века, помещик Вралев из стихотворения В. Л. Пушкина «Вечер» и многие другие. Во второй половине XIX века Н. А. Некрасов, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев, Г. И. Успенский, А. П. Чехов создадут настоящий паноптикум ненавистников чтения, бездуховных «интеллигентных» обывателей и откровенных пошляков, ретроградов и поверхностных «прогрессистов». Книга, а вернее—отношение к ней, выступа-

ет в этих сатирах в роли «пробного камня». Такой же метод активно используют в начале XX века поэты-«сатириконцы», особенно Саша Черный, стихи которого на книжную тему представлены в нашем сборнике. «Человекообразные», как называла Тэффи обывателей с «претензией», читают подчас много, но лучше бы они вообще ничего не читали: это занятие от скуки, безделья, от сознания полной своей ненужности, «невостребованности»... Персонажи сатир Саши Черного буквально стонут под грузом необъятной текущей литературы: все нужно успеть, ведь нельзя же отставать от века, книги «заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки» (любопытна здесь перекличка с рассказом Вл. Азова «Книжный потоп»), все перемешано—«драгоценное и ложь». Читатели Саши Черного часто и легко меняют мнения, не имея ничего за душой (вспомним некрасовское: «что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет»).

Вообще, заметим, русские писатели не склонны были поддаваться гипнозу всеобщего, массового чтения, хотя и дорожили читателями из демократической среды. Часто, цитируя знаменитое четверостишие из стихотворения П. А. Вяземского «1828 год»

Где есть поветрие на чтенье,
В чести там грамота, перо;
Где грамота—там просвещенье;
Где просвещенье—там добро,

как-то забывают (невольно, конечно) об ироническом контексте этого отрывка. Сам факт чтения еще мало о чем говорит, чтение для поэта—не всегда непременно «добро», все зависит от того, что именно читают, чему поклоняются, а главное—как воспринимают прочитанное. В

«Послании к И. И. Дмитриеву» поэт высмеивает «низкопоклонных жрецов» ложных литературных кумиров, «для коих таинством есть всякая печать». А. С. Пушкин позднее полностью согласится с ним. В том же стихотворении Вяземский находит, что «есть род стократ глупей писателей-глупцов—глупцы читатели. Обильный Глазунов не может напастись на них своим товаром...» Почти за 70 лет до этого безвестный сочинитель сатиры «О чтении книг», опубликованной в журнале «Полезное увеселение» за 1760 год, высказал подобную же мысль: «Сколько есть неискусных читателей, гораздо большее число безумных (т. е. бездумных, невежественных.—*А. Б.*) чтецов...» Перекличка весьма примечательная.

По мнению М. Е. Салтыкова-Щедрина, «читатель представляет собой тот устой, на котором всецело зиждется деятельность писателя; он—единственный объект, ради которого горит писательская мысль»[1]. Великий сатирик набрасывает своего рода «типологию», как бы мы сказали сейчас, читателей-современников, посвящая им свой сатирический очерк «Читатель. (Несколько нелишних характеристик)». В нем, конечно, нашла отражение острая идейно-политическая ситуация того времени. В основу щедринской «типологии» (читатели—«простецы», «ненавистники», «солидные» и «друзья») положены, как заметил специально занимавшийся этим вопросом В. В. Прозоров, «социально-нравственные критерии»[2]. В то же время в нем

[1] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 16 т. М., 1974. Т. 16. Кн. 2. С. 133.

[2] Прозоров В. В. Читатель и литературный процесс. Саратов, 1975. С. 172.

подведен итог почти сорокалетнего общения великого сатирика с читающей публикой—итог большею частью горестный. С надеждой и волнением говорит он о появлении «своего», «внутреннего» читателя, которому с полным доверием можно высказать самые сокровенные мысли и чувства.

Спустя десятилетия, в совершенно новых, иных условиях, эта тема глубоко волновала и тревожила А. Т. Твардовского—он не раз обращался к ней и в публицистической, и в поэтической форме. Для него читатель—«друг из самых лучших, из всех попутчиков попутчик»—доверенное лицо писателя. Но поэт прекрасно видит, насколько сложен, многозначен и противоречив мир читателей, с каким трудом удается подчас «пробиться» к своему, «понимающему» читателю (кстати, Л. Н. Толстой во второй редакции предисловия к повести «Детство» склонен был разделить читателей, как, впрочем, и всех людей, лишь на две категории—«понимающих и непонимающих»). Говоря о высокой моральной ответственности художника слова, поэт требует того же и от читателя, приглашая его к сотворчеству, к тому, чтобы он «не запропал, не стал дитятей». Серьезный, мыслящий и понимающий читатель—вот идеал Твардовского. Отсюда—горькие упреки, адресованные читателю-догматику, читателю-«критику».

Из советской «библиосатиры» для сборника отобраны некоторые забытые миниатюры 20—30-х годов, принадлежащие перу М. М. Зощенко, М. А. Булгакова, И. А. Ильфа, М. Е. Кольцова. Они представляют не только чисто историко-литературный интерес. Не перевелись, к сожалению, «книголюбы», украшающие книгами «ин-

терьер» («Праздник книги» М. М. Зощенко), варварски относящиеся к общественному и личному духовному достоянию («Тяга к чтению» М. М. Зощенко и «Благообразный вор» И. А. Ильфа), нерадивые библиотекари и чересчур доверчивые читатели (рассказ М. А. Булгакова «Сколько Брокгауза может вынести организм?»).

Впрочем, как может убедиться читатель, и произведения русских сатириков, отдаленные от нас двумя веками, не потеряли своей злободневности. Они заставляют задуматься над вечными вопросами нравственного, глубоко осознанного и прочувствованного отношения человека к чтению и собиранию книг. Отбирая тексты для сборника, составитель руководствовался именно этим критерием, учитывая, конечно, и художественную их ценность. В последнем отношении они неравнозначны, но и писатели «второго ряда» донесли до нас атмосферу «книжных страстей» ушедшего времени; их произведения содержат большой познавательный материал, представляющий интерес и для историка, и для просвещенного любителя книг. Несколько десятков произведений, вошедших в наш сборник, далеко не исчерпывают репертуар отечественной «библиосатиры»—«книжная» тема практически неисчерпаема.

Надеемся на то, что собранные здесь тексты произведений отечественных писателей помогут читателю в постижении и осмыслении привычного для нас чуда, имя которому—Книга.

А. В. Блюм



ОТГОЛОСОК УМОВ...

XVIII ВЕК

В книгах рыться я люблю,
Мой ум и сердце просвещая...

Г. Р. Державин

А. Д. КАНТЕМИР

ИЗ «САТИРЫ I. НА ХУЛЯЩИХ УЧЕНИЯ. К УМУ СВОЕМУ»

Уме недозрелый, плод недолгой науки!
Покойся, не понуждай к перу мои руки:
Не писав, летящи дни века проводити
Можно, и славу достать, хоть творцом не слыти.
Ведут к ней нетрудные в наш век пути многи,
На которых смелые не запнутся ноги;
Всех неприятнее тот, что босы проклали
Девять сестр. Многи на нем силу потеряли,
Не дошед; нужно на нем потеть и томиться,
И в тех трудах всяк тебя, как мору, чужится,
Смеется, гнушается. Кто над столом гнется,
Пяля на книгу глаза, больших не добьется
Палат, ни расцвеченна марморами саду;
Овцу не прибавит он к отцовскому стаду. 〈...〉

Силван другую вину наукам находит.
«Учение,—говорит,—нам голод наводит;
Живали мы преж, не зная латыне,
Гораздо обильнее, чем мы живем ныне;
Гораздо в невежестве больше хлеба жали;
Переняв чужой язык, свой хлеб потеряли.
Буде речь моя слаба, буде нет в ней чину,
Ни связи,—должно ль о том тужить дворянину?
Румяный, трожды рыгнув, Лука подпевает:
«Наука содружество людей разрушает;
Люди мы к сообществу божия тварь стали,
Не в нашу пользу одну смысла дар прияли.
Что же пользу иному, когда я запрусь
В чулан, для мертвых друзей—живущих лишуся,

Когда все содружество, вся моя ватага
Будет чернило, перо, песок да бумага?
В веселье, в пирах мы жизнь должны провождати:
И так она недолга—на что коротати,
Крушиться над книгою и повреждать очи?
Не лучше ли с кубком дни прогулять и ночи?
Вино—дар божественный, много в нем провору:
Дружит людей, подает повод к разговору,
Веселит, все тяжкие мысли отымает,
Скудость знает облегчать, слабых ободряет,
Жестоких мягчит сердца, угрюмость отводит,
Любовник легче вином в цель свою доходит,
Когда по небу сохой бразды водить станут,
А с поверхности земли звезды уж проглянут,
Когда будут течь к ключам своим быстры реки
И возвратятся назад минувшие веки,
Когда в пост чернец одну есть станет вязигу,—
Тогда, оставя стакан, примуся за книгу».
Медор тужит, что чресчур бумаги исходит
На письмо, на печать книг, а ему приходит,
Что не в чем уж завертеть завитые кудри;
Не сменит он Сенеку на фунт доброй пудры;
Пред Егором двух денег Вергилий не стоит;
Рексу—не Цицерону похвала достоит. ⟨...⟩

1729 г.

САТИРИК К ЧИТАТЕЛЮ

Кольнул тя? Молчи, ибо тя не именую.
Воплишь? Не я—ты выдал свою злобу злую.

1729 г.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Не гневитесь, чтецы, стихами моими.
С музой своей говорю; нет дела с иными.
Коли кому и смеюсь,—ей, не с доброй воли,
Для украсы: ведь и в щах нет смаку без соли.

Изъяснение

Без соли. В стихотворстве забавные и острые речи латин соль называются, и для того говорит автор, что смеялся иным для украсы своей сатиры, или прямо сказать: смешками посолил ее, чтоб была вкуснее уму чтущих.

1731 г.

А. А. НАРТОВ

ВЫВЕСКА

Сим объявляется
И повторяется,
Что Римския том перв история Роллена
Да и по-русскому—какая о премена!—
В продаже есть на том дворе, где сам толмач
Живет, что преж сего стихов был русских ткач;
  Дом—краска зелена
  В двенадцатой линеи
  Покажет, а цена—
  Вот вам, о благодеи!
Бумаге на простой—рубль пол и гривны три,
На чистой—два рубли кто даст, тот и бери.

1761 г. (?)

НА УЧЕНОГО БОМБАСТА

Бомбаст на всякий день книг по сту покупает,
Чтоб тем о знании своем уверить свет,
Он не обманет нас: он ничего не знает;
Не любит книг совсем, но любит переплет.

1761 г.

С. А. ТУЧКОВ

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЕВНУХ

Недавно наш Милон книг множество собрал
И, показавши их приятелю, сказал:
«Коль много ты здесь книг предорогих найдешь,
Не скоро множество такое соберешь!»
Но тот ему на то: «Я вижу то, мой друг,
Лишь только жаль, что ты в серали сей евнух».

1789 г.

В. Л. ПУШКИН

МОНОЛОГ ВРАЛЕВА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ВЕЧЕР»

⟨...⟩ Но кстати стол готов; все кинулись туда,
Покойно думал есть—и тут со мной беда!
Несчастного меня с Вралевым посадили!
И медля, начал он вопросы мне творить:
Кто я таков? Что я? Где я изволю жить?
Потом о молодых и старых рассуждая,
«Нет, нынче жизнь плоха»,—твердил он, воздыхая...
— Вот я-таки скажу и о сынке моем:

Уж малый в двадцать лет, а книги лишь читает,
Не ищет ни чинов, ни счастья не желает.
Я дочь Рубинова сосватал за него;
Любезный мой сынок не хочет и того:
На деньгах, батюшка, никак-де не женюся,
А я жену возьму, когда в нее влюблюся.
Как быть, не знаю с ним,—и чувствую я то,
Что будет он бедняк, а более ничто.
Вот что произвели проклятые науки!
Не нужно золото—давай Жан-Жака в руки! 〈...〉

1799 г.

Я. Б. КНЯЖНИН

ОТРЫВОК ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ

АЗБУКА — Знание, составляющее всю ученость многих, думающих о себе гораздо более.

АВТОР — Отголосок древних умов.

АТЛАС — Переменяется одним только ударением на атлáс.—Разница та, что последнее более уважают, нежели первое.

ЕР — То же в азбуке, что истина между людей; литера, без которой легко можно обойтиться.

ЕЛЬНИК — Парнасские розги, которыми наказываются худые стихотворцы.

ОГЛАВЛЕНИЕ — Вывеска книг. Большею частию много обещает, но мало исполняет.

СОЧИНИТЕЛЬ —Художник, который обнаруживает разум свой, искусство и глупость с помощию типографии.

УФ... —Восклицательный знак слушателя, когда он стонет под толстою тетрадью плоского стихотворца.

ЧЕРНИЛЬНИЦА —Очень часто бывает малою причиною больших действий.

ЧИТАТЬ —Читается трояким образом: 1) —читать и не понимать; 2) —читать и понимать; 3) —читать и понимать даже то, чего не написано. Бóльшая часть людей читает первым манером, но третьим весьма мало.

ШКАП С КНИГАМИ —Часто служит одним только украшением, но не пользою.

1780-е гг.

Н. И. СТРАХОВ

БИБЛИОТЕКА ДЕВИЦ И МУЖЧИН

По принятии себе в дом учителей и учительниц по немедленном окончании всех модных наук и знаний, возьмите в руки претолстый реестр книгам и нужные из оных отметьте явственнее красным карандашом. Выбирайте книги по заглавию, а не по содержанию...

Сколько можно старайтесь не покупать нижеследующих бесполезных и пустых книг: о добродетели, потому что все повествования о сем почитаются ныне наряду с тысяча одной ночью; о сердце, для того, что по новой Анатомии не находится оного в теле щеголей и щеголих; о благонравии, потому что всякий, мечтательно поставляя оное собственным свойством его, не почитает нужным читать истинных об оном предписаний; о совести, потому что не только книги о ней, но и сама она для многих ныне не нужна; о истинной дружбе, для того, что оное есть заплесневелое и из употребления вышедшее свойство души; о благоупотреблении времени, потому что праздность есть главнейшим правилом благоурожденных людей; и вообще не покупайте тех книг, которые содержат о том, что не есть модно и известно между большим светом; ибо все то, что не модно, разумеется под общим названием: fadaises[1].

Дабы быть знающим в философии, накупите песен, а для сведения о истории наполните шкафы сказками. Для изучения физики купите доселе изданные фокусы-покусы. Руководством к благонравию и добродетели изберите разные песенные и развратные сочинения иностранных бумагомаров. Родители должны предоставить деткам полную волю в составлении таковых библиотек, а на перевод—вздорохранилищ.

Таковые нынешних благоразумных родителей затеи не под стать старичкам, которые знают, что детям их жить не с книгами, а с их денежками и деревеньками... Пусть таковыми затеями занимаются нынешние благоразумные

[1] Fadaises — нелепость, вздор (*фр.*).

родители. Пусть они знают содержание книг от доски до доски. Пусть они вникают в самые тончайшие мысли писателей. ⟨...⟩ Пускай делаются они в рассуждении чад своих стражами, которые охраняют сердце и дух от поражения и нашествия утонченных пороков, хитрых обольщений и пагубных развратств и заблуждений!

Оставьте, любезные старички, таковые вздоры. Не можно вам получить всем желаемого успеха, поелику, в рассуждении сей тончайшей части воспитания, многие из вас сами суть только что состарившиеся младенцы.

1791 г.

И. А. КРЫЛОВ

ИЗ «ПОЧТЫ ДУХОВ»

Когда воображаю я, мудрый и ученый Маликульмульк, что человек ничем другим не отличается столько от прочих творений, как великостию своей души, приобретаемыми познаниями и употреблением в пользу тех дарований, коими небо его одарило, тогда, обратя взор мой на жилище смертных, с сожалением вижу, что поверхность обитаемого ими земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно и кои не только не вменяют в бесчестие слыть тунеядцами, но, по странному некоему предубеждению, почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого.

Деревенский дворянин, который провождает

всю свою жизнь, гоняясь целую неделю по полям с собаками, а по воскресным дням напиваясь пьян с приходским своим священником, почел бы обесчещенным благородство древней своей фамилии, если б занялся когда чтением какой нравоучительной книги, ибо с великим трудом едва научился он разбирать и календарные знаки. ⟨...⟩

Дворянин, живущий в городе и следующий по стопам нынешних модных вертопрахов, не лучше рассуждает о науках: хотя и не презирает их совершенно, однако ж почитает за вздорные и совсем за бесполезные познания. «Неужели,—говорит он,—должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? К чему полезна философия? Ни к чему более, как только что упражняющихся в оной глупцов претворяет в совершенных дураков. Разбогател ли хотя один ученый от своей учености? Наслаждается ли он лучшим здоровьем, нежели прочие?—Совсем нет! Ученые и философы таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провождают они целые дни безвыходно в своих кабинетах и, наконец, после тяжких трудов, живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. Куда какое завидное состояние! Поистине, надобно сойтить с ума, чтоб им последовать. Пусть господа ученые насыщают желудки свои зелеными лаврами и утоляют жажду струями Иппокрены; что до меня касается, я не привык к их ученой пище. Стол, уставленный множеством блюд с хорошим кушаньем, и несколько бутылок бургонского вина несравненно для меня приятнее. Встав

из-за стола, спешу я, как наискорее заняться другими веселостями: лечу на бал, иногда бегу в театр, после в маскарад; и во всех сих местах пою, танцую, резвлюсь, кричу и всеми силами стараюсь, чтобы, ни о чем не помышляя, упражняться единственно в забавах».

Вот, премудрый Маликульмульк, каким образом рассуждает о науках большая часть дворян. Сколь достойны они сожаления! Если б сии ослепленные глупым предрассуждением тунеядцы могли когда почувствовать сие сладчайшее удовольствие, сие тайное восхищение, которое люди, упражняющиеся в науках, ощущают, то перестали бы взирать на них, как на несчастных, лишенных в жизни сей всякого утешения. Науки суть светила, просвещающие души: человек, объятый мраком невежества, во сто раз слепее того, который лишен зрения от самого своего рождения. Гомер, хотя и не имел глаз, однако ж все видел: завеса, скрывающая от него вселенную, была пред ним открыта, и разум его проницал даже во внутренность самого ада.

Если дворяне, праздно живущие в деревнях и следующие модам нынешнего света, будучи предубеждены в пользу своего невежества, мыслят столь низко и столь несвойственно с званием своим о науках, то и служащие в военной службе иногда подвержены бывают равному заблуждению. Жизнь сих людей в мирное время протекает в различных шалостях и совершенной праздности: биллиард, карты, пунш и волокитство за пригожими женщинами—вот лучшее упражнение большей части офицеров. Ученый человек в глазах их не что иное, как дурак, поставляющий в том только свое благополучие, чтоб перебирать беспрестанно множество сши-

тых и склеенных лоскутков бумаги. «Какое удовольствие,—говорят они,—сидеть запершись одному в кабинете, как медведю в своей берлоге? Зрение наслаждается ли таким же удовольствием при рассматривании библиотеки, как и при воззрении на прелести пригожей женщины? Вкус может ли равно удовольствован быть чтением книг, как шампанским и бургонским вином? Осязание бумаги с такою ли приятностию поражает наши чувства, как прикосновение к нежной руке какой красавицы? Слух равное ли ощущает удовольствие от звука ударяющихся математических инструментов, как от приятного согласия оперного оркестра? Чернила и песок такое же ли испускают благовоние, как душистая пудра и помада? Какую скучную жизнь провождают ученые! Возможно ли, чтобы человек для приобретения совсем бесполезных в общежитии знаний жертвовал для них своим покоем и веселостями».

⟨...⟩ Я уже наперед воображаю, что ты или станешь меня бранить за такое худое товарищество, или подумаешь, что в сем городе нет ни одной путной головы; напротив, ученый Маликульмульк, здешняя земля в произведении хороших умов есть самая обильная, и я могу тебе начесть в сем одном городе человек десяток очень неглупых людей. Но участь оных почти одинакова во всем свете. Мне случалось видеть в самых знатнейших домах портреты ученых людей, хотя те самые ученые совсем не имели входу и в их прихожие. Здесь в большом свете почитается за невежество, чтоб не знать по названиям вновь выходящих творений или чтоб не знать имен современных писателей, но чтоб читать те сочинения, то считается за потерю

времени, а чтоб иметь знакомство с авторами, то почитается подлостию, ибо в сих случаях сравниваются они с ремесленниками, которые, однако ж, несравненно более выигрывают в своей жизни, нежели ученые. 〈...〉

Недавно, прогуливаясь по городу, любезный Маликульмульк, вздумалось мне осмотреть здешние книжные лавки. Увидя, что они завалены книгами, я удивлялся просвещению нынешнего века, радовался тому, что и в здешней земле есть книги, и сравнивал нынешний век с старыми. «Какая разница,—думал я сам себе,—между тем временем, в которое книг почти было не видно, и между нынешним, когда всю поверхность обитаемой земли можно укласть книгами». Но и то правда, любезный Маликульмульк, что тогда не приносили стыда ученому свету *Бабушкины выдумки, Бредящий мещанин* и изданные в четверку без правил краденые сочинения Рифмокрада, которыми завалены все книжные лавки и которые продаются нередко на вес для разносчиков на обертку овощей. 〈...〉

«Для чего ж здесь мало хороших книг?»—спросил я [у книгопродавца]. «Для того, сударь,—отвечал он мне,—что здесь множество авторов, как кажется, более занимаются не тем, чтобы что-нибудь написать, но чтобы что-нибудь напечатать и поспешить всенародно объявить, что они невежи. Страсть к стихотворству здесь сильнее, нежели в других местах, но страсти к истине и к красотам очень мало в сочинителях,—оттого-то нет хороших книг, но множество лавок завалены бреднями худых стихотворцев».

1789 г.

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ, ИЛИ СПОСОБ КАЗАТЬСЯ РАЗУМНЫМ, НЕ ИМЕЯ НИ КАПЛИ РАЗУМА

Любезные собратия!—так начинает мой философ.—Уважая нашу благородную ревность казаться разумными в большом свете и в то же время сохранять наследственное прилепление к невежеству, предпринял я быть вам полезным и преподать способ, лестный для нынешнего воспитания, способ завидный—*казаться разумным, не имея ни капли разума.*

Намерение такое удивит угрюмых читателей и философов, может быть, и вы сами почтете его странным, уважая старинную пословицу: ученье свет, а неученье тьма. Но кто учен, друзья мои! И когда сам Сократ сказал, что он ничего не знает, то не лучше ли спокойно пользоваться нам наследственным правом на это признание, нежели доставать его с такими хлопотами, каких оно стоило покойнику—афинскому мудрецу. А когда уже быть разумным невозможно, то должно прибегнуть к утешительному способу казаться разумным. ⟨...⟩

⟨...⟩ С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты дворянин и, следственно, что ты родился поедать тот хлеб, который посеют твои крестьяне; словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев, и что деды твои только для того думали, чтобы доставить своей голове правило ничего не думать.

Приуготовя себя таким прекрасным началом, из коего следуют все другие правила, делающие блестящим человека в большом свете, должен ты отвергнуть некоторые предрассуждения, мешающие иногда блистать остроумием молодому

человеку, и для того привыкай заранее шутить над тем, что для предков наших было священно: ничто так не блистательно, как молодой человек, когда он шутит над важными вещами, не понимая их; при всей мелкости своего ума он тогда так мил, как болонская собачка, которая бросается на драгунского рослого капитана и хочет его разорвать, между тем как он равнодушно курит трубку, не занимаясь ее гневом; как мила и забавна смелость этой собачонки, так точно забавна смелость вашего ума, когда огрызается он на вещи, перед коими он менее, нежели болонская собачка перед драгунским капитаном. ⟨...⟩

⟨...⟩ Отбери несколько авторов наудачу, затверди их имена, вздумай, что один из них пленил тебя своими красотами, так, как Дон Кишот вздумал, что его пленила Дульцинея, которой он и в глаза не видывал; таким образом, пожаловав одного какого-нибудь автора (тем больше тебе чести, если он иностранный) в свои любимцы, брани других и занимайся им одним, приписывая тем погрешности, которых в них нет, и придавай ему прелести, коих в нем не бывало. Ничего нет милее, как видеть двух молодых щеголей, когда спорят они за своих авторов, не читав их, и мне часто случалось быть свидетелем, как Руссовы Эпиграммы над Юнговыми *Ночами* одерживали победу, которая всегда оставалась на той стороне, у чьего защитника здоровее горло. ⟨...⟩

⟨...⟩ Умей говорить не думая, думать прилично ученому, а учение не пристало щеголю, и ты должен остерегаться, чтоб не сказать чего умного. Молодой человек, который говорит умно, очень глуп в большом свете, а ты должен быть забавен.

⟨...⟩ Вот, любезные мои собратия, маленький опыт правил, столь необходимых тому, кто хочет с успехом блистать в модном свете; пользуйтесь ими ⟨...⟩

1792 г.

АНОНИМНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АВТОРОВ XVIII ВЕКА

О БЕСЕДАХ И КНИГАХ

Я не знаю, предпочитать ли беседу чтению такой книги, которая написана с разумом и пользою, или нет? Я думаю о приятелях своих, когда б они могли так хорошо думать, как шутить, то я бы обхождение с ними почитал лучше, нежели разговор с книгою, которая только для забавы писана. Я обхождением с моими приятелями не только веселюсь и наслаждаюсь; да между тем стараюсь наблюдать все общества добродетели, которые нужны к сохранению людскости и добрых нравов; а что касается до нынешних бесед, особливо когда они многолюдны, то я хорошую книгу всегда им предпочту. Сколь мало утешения, сколь мало пользы могут приносить такие беседы, которые состоят из разных людей, отчасти смешных, отчасти глупых, отчасти самолюбивых! Один принуждает нас слушать пустых речей своих по целому часу; другой отягощает нас стоном и жалобами о таких делах, которые ни он, ни слушатели переменить не могут. Тот рассказывает с восхищением о птичьей и псовой охоте; сей твердит с досадой, как тройка бубновая и король крестовой опустошили кошелек его; иной мучит, рассказы-

вая со всеми подробностями о приказных делах; другой хвастает, как принят он был хорошо от красавицы, как она с ним разговаривала, хороша ли погода; там спорят о платье, чье лучше; здесь толкуют о цветах, какой с каким приличнее. И ежели еще мало, то покажется какой-нибудь хвастун, и, рассказывая наизусть свою поколенную роспись, хочет, чтоб все удивлялися ему в рассуждении множества и знатности его предков.

Все такие разговоры должно, иногда необходимо слушать и притом казаться, что слушаешь охотно, ежели не захочешь разрушить такого веселого собрания.

Напротив того, когда я читаю книгу, я ничего этого не опасаюсь, всю свою забаву имею перед собой, в моей власти избрать материю и читать о той или другой, а в беседе я должен слушать все—и веселое и скучное. Книга показывает мне обстоятельно о том, о чем я желаю ведать, и до тех пор научает меня, покамест я о желаемом вразумительно понимаю. В беседе же редко говорят основательно, но всегда мешается одно с другим. И так редко может удовольствовать наши желания. Да притом, пускай бы иная беседа была и хороша, всегда ли ею наслаждаться я могу, когда захочу?

Книга, напротив, всегда к моим услугам, лишь только захочу—могу ее и взять, она беспрекословно повинуется мне, она и верный мой приятель, и разумной учитель мой. Не понравилась та, возьму другую. Правда, и в беседах уверяют многие, что они охотно к услугам готовы, а особливо в таких беседах, которые начинаются весельем, а бешенством разрушаются, да они только до тех пор и слуги, покамест в беседе; беседа кончилась, миновались и все уверения.

 2 Зак. 2131

А ежели бы они были действительно таковы, как они о себе уверяют, то бы можно было поступать с ними так, как с книгами, которые понравятся или не понравятся.

Словом сказать, такие беседы не приносят забавы, а пользы еще меньше. Вы лучше их, любезные книги! вас я люблю и всегда превозносить буду. Вы достойны всякой похвалы. Вы молодого научаете, вы веселите старика; вы людей в счастье исправляете; вы утешаете в несчастье; вы ободряете нас, когда нам светская суета прискучит и злоба людская встревожит наши мысли... Пусть головы пустые презирают вас и науки, как хотят, но то всегда останется в наших мыслях, что вы людей и добронравию, и людскости научаете. ⟨...⟩

1759 г.

О ЧТЕНИИ КНИГ

Чтение книг есть великая польза роду человеческому, и гораздо большая, нежели все врачевания неискусных медиков. О, можно сумневаться тому, кто книг не читывал; однако великая радость читать и быть читателем. Насмысленной подъячий с охотой читает книги, которые писаны без мыслей, купец удивляется, по их наречию, виршам, сочиненным таким же невежою, каков он сам; однако они не читатели. Сколько есть неискусных сочинителей, гораздо большее число безумных чтецов; но сочинитель, написав дурную книгу, делает бесчестие себе, а глупый чтец, читая оную, и себе и другим вред делает: омраченные мысли, погрузнув в мраке глупого чтения, вдвое тупее становятся, и,

не прочистив настоящим образом свету к познанию прямого содержания хорошей или дурной книги, сообщают свое безумие другому невеже.

Сии-то знатоки, или чтецы по просторечию, весьма досадно, что грамоте учены; они пользы иной чрез то не приносят, как только что от чтения, или, лучше сказать, от непонятности и тупости своей, наконец, с ума сойдут или ослепнут. Читая книги, много наблюдать надлежит; первое—испытать себя: на что я хочу читать? что я хочу читать? и как я буду читать? Ежели стану читать для того, что дома скучно и гости не едут, чтоб прогнать как-нибудь время, так я советую читать все, что захочется и что попадется, для того, что это для таких людей не опасно—гости приехали, материя из головы уехала, да и век назад не возвратится.

Ежели я стану читать, чтобы пользу получить от выбранной мною книги, то я, прежде всего, буду думать: что за книгу я читать берусь? Как читать ее буду? всякую ли материю толковать или скорей книгу кончить? Но это не похвально для книг хорошего содержания. Романы для того читают, чтоб искуснее любиться, и часто отмечают красными знаками нежные самые речи; а философию, нравоучения, книги до наук и художества касающиеся и тому подобные, не романы, их читают не для любовных изречений; для сего должно мне, вникнув в содержание книги, разобрать автора моего, содержание его книги и достоинства оного.

Но в том моего намерения нет, чтоб подробнее дать наставление в чтении книг; на то есть особливые книги—и весьма великие, о чем по каталогам справиться можно.

Скажут мне, что в нашем народе не столько

еще дошли до наук, чтоб читать важные и всякие ученые книги; что очень жалко, однако это не оправдание. Есть книги, которые не самой великой важности, и так легко писаны, что каждому, кто только человеческий смысл имеет, понимать способно. Все учат детей своих языкам, а больше французскому. На что это? на то ли, чтоб он вертопрашно передо всеми болтать мог, а между тем, гнушаясь природным, чужие слова мешал в него и тем бы так, как себя, безобразным, нескладным и уродливым делал? Так пускай он безумствует; он и книг дурных не читая, на дурную книгу походит, которая ни мысли, ни складу не имеет. Когда ж отец учит сына, чтоб он, прочистя разум свой чужими книгами, за тем, что мы своих не довольно имеем, принес обретенное сокровище в чужих языках в пользу природному и, не трогая собственной его чистоты, украшал, по примеру других, приятными изречениями, хорошим складом и внятным писанием, то деньги на учение пропали не даром.

Хотя можно обойтись, не сочиняя книг, но что надлежит до прочего, например: писать хорошие письма весьма нужно, чего, однако, по всем хорошим французским изречениям, немногие мыслят.

Теперь, обратясь на прежнюю свою материю о чтении книг, то сие не меньше сожалительно, как и то, чтоб для порчи русского языка по-французски говорить, что отцы, или сами чужих языков не знаючи, или положась на учителей своих, которые и сами на их жалованье положились, что будет им, что прогуливать, дают ребенку читать книги не для чего иного, как чтоб он читал что-нибудь. Отец по реестру учительскому накупил много книг—учитель говорит,

что они необходимо надобны. Ребенка бьют, чтоб он читал их, а не за то, что он ничего не разумеет; отец говорит, что он за книги дорого дал, так должно читать их, они полезны. Но пусть ребенок начнет разуметь книгу; ему дали Фонтеновы басни или Мольера: сочинители всех похвал достойные; но что он без предводителя смыслить будет? Есть в Фонтене, а в Мольере очень много, что писано в закрытом разуме, а иное в издевку людским слабостям. Ну, ежели он не поймет сего, и вместо того, чтоб с Мольером смеяться, как сын отца обманывает, сам тому следовать станет?

Я слышал от одной девицы, что она, читая Мольера, преизрядные наставления нашла в нем, как мать свою обманывать. Не знаю, была ли в том ей нужда? Но знаю, что мать за учение ее много денег заплатила и очень радовалась, когда дочь читала Мольера. Вот какие следствия от неискусных учителей происходят, и вот каково неискусным читателем быть! Ежели кто для охоты, но без рассуждения читает книгу, тот может из самой полезной много вредных наставлений вычерпать, чему пример помянутая девица. Итак, всего больше надлежит отцам стараться, чтоб их учители толковали книги детям: для какой пользы они писаны?

А еще больше нужно читать книги умеючи.

1760 г.

ИЗ МИЛЛИОННОЙ

Здесь примечена великая перемена в продаже книг. Прежде жаловались, что на российском языке не было почти никаких полезных и ко украшению разума служащих книг, а печатались

одни только *романы* и *сказки*, но однако ж их покупали очень много. Ныне многие наилучшие книги переведены с разных иностранных языков и напечатаны на российском, но их и в десятую долю против *романов* не покупают. Прежнему великому на *романы* и *сказки* расходу причиною было, как некоторые сказывают, невежество, а нынешнему малому наилучшим книгам расходу полагают причиною великое наше просвещение.

И подлинно, благодаря бога, мы ныне так стали разумны, что не только ничему уже не хотим учиться, но и за стыд почитаем упражняться в науках, а еще и паче во словесных. Что же касается до подлинных наших книг, то они никогда не были в моде и совсем не расходятся, да и кому их покупать? просвещенным нашим господчикам они не нужны, а невежам и совсем не годятся. Кто бы во Франции поверил, ежели бы сказали, что *Волшебных сказок* разошлося больше сочинений *Расиновых*? А у нас это сбывается. *Тысячи одной ночи* продано гораздо больше сочинений *г. Сумарокова*. И какой бы лондонский книгопродавец не ужаснулся, услышав, что у нас двести экземпляров напечатанной книги иногда в десять лет насилу раскупятся? О времена! О нравы! Ободряйтесь, российские писатели! Сочинения ваши скоро и совсем покупать перестанут.

1772 г.

[СЦЕНКА В ГОСТИНОМ ДВОРЕ]

Будучи в Гостином рынке, или в Гостином дворе, купил я несколько нужных мне безделиц, которые купец начал завертывать в печатные

листы. Я из любопытства поглядел, чем обернуты купленные мной носовые платки? И к крайнему сожалению моему увидел, что употреблен лист Физической географии; батист на манжеты завернут был в лист Естественной истории; табак в Логику; шпильки в Травник, или Ботанику...

Боже мой! на что употребляются здесь преполезные книги, когда куча прескверных романов прячется в библиотеках в пребогатом переплете! Купец, улыбнувшись, сказал мне:

— Напрасно вы беспокоитесь об этих листах: нам книгопродавцы продают их на вес, и они гораздо дешевле нам обходятся завертошной бумаги. А в этом виноваты вы сами, господа благородные! для чего вы их не читаете? Ведь лежа на полках, того и гляди, что обломят и полки. Так провались они, проклятые, капитал-то в них вложенный пропал, да как еще и полки не починивать или делать вновь... так заведомо лучше бросить их за что-нибудь... А романы-то, сударь! не шутите ими... у меня знакомый книгопродавец, где я эти листы беру на обертку, говорит, что это золотые книги; ни один роман еще не залежался, то и знай, что их подпечатывают—*Тысячу одну ночь* то и дело, что раскупают!.. А у нашего брата-купца тот товар и умен, за который больше денег дают и который больше покупают.

В сие время прервал наш разговор взошедший в лавку армейский сержант, у которого на груди было три медали; он спросил курительного табаку, и ему завернул купец также в печатном листе, на котором приметил я статью о ретираде, из чего и заключил я, что сия книга есть Тактика.

Я. Служивый! Знаешь ли ты, в чем завернут твой табак?

Он. Нет, ваше благородие! Я грамоте не учен, я из даточных.
Я. Это лист из книги военной—это Тактика, или Наука воевать.
Он. И какой вздор! шутишь, барин! Да на что тут наука? Надобна только эксерциция—тогда штык у рядового примкнут—пускай-ка сунется кто с наукою-то на нас, мы всякую науку насквозь просадим—у нас два слова науку составляют.
Я. Какие, мой друг?
Он. Первое слово и самое важное, и важнее всех наук в армейской службе: слушай!.. У нас вся наука в том: либо—стой, либо—вперед, а назад никогда. Ну вот! Я вам натолковал—прочти-ка, барин, мне хоть строчку, что на этой бумаге написано, что за наука?
Я. Тут написано, мой друг, о ретираде.
Он. Провались же эта книга к черту—ее, конечно, какой-нибудь трус писал—писал и учатся этой науке трусы же—а я служил, и назад никогда не пятился. 〈...〉

1792 г.

* * *

Страдальцы ломбера и мученики реста,
Чей ум слабее теста,
Кто в ябеды проник:
Такие остряки не любят книг.
Но что за злоба их на книги разрывает?
Причина: книга сплошь их зеркалом бывает.

1763 г.

РОНДО

Какая прибыль в том, что книги ты читаешь?
Ведь ты имения чрез то не умножаешь;
За книгой ты сидя, проводишь жизнь в пустом,—
Скупяга говорил:—Какая прибыль в том?

Какая прибыль в том? прапрадеды не знали
И русской грамоты; да также вить живали.
Когда богатства нет, хотя ты и с умом:
Не будешь богачом, какая ж прибыль в том?

Какая прибыль в том? что прибыли в ученых?
Лишь больше ереси мы видим в просвещенных;
У них не Илия Пророк шлет с неба гром,
Но силы некие: какая ж прибыль в том?

Какая прибыль в том? ученый, сам помысли,
Убытки все свои и протори исчисли;
Загладь свои грехи молитвой и постом,
Да денег накопи: вот будет прибыль в том.

1782 г.

* * *

Наш Книголюбов столь прилежен к книгам стал,
Что несколько ночей, на них глядя, не спал;
Покою он трудам ни в день, ни в ночь не знает,
И к книгам книг еще он больше покупает,
Проводит с ними он прилежно много лет,
Но в книгах мил ему один лишь переплет.

1782 г.



ВЕСЬ МИР ЕМУ АРХИВ...

XIX ВЕК

Я богач, как там ни числи:
Книги есть-чего ж желать?
Но копя чужие мысли,
Мне б своей не потерять!..

З.А.Волконская

И. И. ДМИТРИЕВ

* * *

—«Почто ты Мазона, мой друг, не прочитаешь?»
—«Какая польза в том?»—«Ты сам себя узнаешь».
—«А ты его читал?»
— «Два раза».—«Хорошо ж, что я не начинал».

1791 г.

* * *

«Я разорился от воров!»
— «Жалею о твоем я горе».
— «Украли пук моих стихов!»
— «Жалею я об воре».

1803 г.

А. Д. ИЛЛИЧЕВСКИЙ

ПРОДАЖА КНИГ

По смерти Фрола Простина
Продажа книг возвещена;
Все новенькие, как с иголки,
И все с обрезом золотым:
Покойник, набивая полки,
Ни разу не коснулся к ним.

1827 г.

А. Е. ИЗМАЙЛОВ

ГОРДЮШКА-КНИГОПРОДАВЕЦ

БАСНЯ

Был здесь давно один мерзавец
Гордюшка, плут-книгопродавец...
Без совести и без стыда
На белый свет родился,
Рад удавиться и за грош;
А впрочем всем он был хорош;
Немножко грамоте учился.
Мог двоеточие от точки отличить,
Мог объявление о книге сочинить,
Любил для барышей душой литературу,
В «Оракулах» держал всегда сам корректуру;
Ученых пьяниц он погодно нанимал
И компиляции в свет с ними издавал.
Жаль, не писал стихов Гордюшка!
Одна почтенная старушка
По смерти мужниной вдруг в нищету пришла;
Что было лишнее, кой-как распродала,
В ломбард иное заложила;
Одну лишь комнату топила—
Так берегла дрова
И деньги бедная вдова.
Занемоги она еще весной ненастной.
Как быть?
Лекарства не на что купить.
Но добрый лекарь частный
Старушке страждущей помог.
Да наградит его сам бог!
А он всегда тех награждает,
Кто бедным вдовушкам охотно помогает.
Узнал торгаш Гордей,

Что после мужа есть шкап целый книг у ней.
Вот он к больной приходит,
В постели бедную находит,
И говорит: «У вас, я слышал, книжки есть...
Хоть торга книгами не можно нынче весть...
От книг так плохи авантажи,
Что лучше продавать, поверьте, калачи...
Позвольте посмотреть». Дают ему ключи.
Вот шкап он отпирает—
Шкап книгами набит.
Гордюшка их перебирает.
На титулы глядит.
Понюхает иную,
То улыбнется плут,
То рожу сделает такую,
Как будто в долг с него берут.
Смотрел, глядел час целый;
В затылке почесал;
Потом с осанкой гордой, смелой
Презрительно сказал:
«Хоть счетом книг и много,
Но разобрать коль строго,
Так мало тут добра.
Ну что? «Деяния Петра»,
Да Ломоносова, Державина творенья,
И Дмитриева сочиненья,
Жуковского, Карамзина—
И только ведь из русских!»
— «А сколько, батюшка, зато здесь книг французских,
Латинских, греческих?»—«Да все ведь старина!
Расина, Буало, Корнеля всяк имеет;
По-гречески ж не всякий разумеет.
А правду молвить, и латынь
Хоть кинь!
Народ наш деловой, торговый и воинский—

На что же нам язык латинский?..
Однако, так и быть,
Рад все у вас купить,
Коль сходно отдадите.
Ну, много ли, сударыня, хотите?»
— «А сколько б дали вы?»—«Да что вас обижать?
Извольте, дам я ... двадцать пять».
— «Как? Двадцать пять рублей? За все? Не грех вам это»?
— «Да рассудите сами: нынче лето;
А до зимы
Почти ведь не торгуем мы.
Не выручишь, ей-богу, и на лавку!»
— «Я лучше их сожгу! Как? Двадцать пять!»—
«Жаль вас!
Извольте, так и быть, вдобавку
Еще пять рубликов, и деньги сей же час!»
— «Подите ж вон!»—«Ну, десять я прибавлю.
Хотите тридцать пять?
И шкап, пожалуй, вам оставлю
Да буду, матушка, вас вечно поминать».
Старушка рассердилась,
С Гордюшкой побранилась
И гонит плута вон.
Нейдет, однако, он,
Торгуется, клянется,
Что покупателя другого не найдется,
И наконец
За сотню книги все купил у ней, подлец!
Возрадовался мой Гордюшка,
Что им ограблена так бедная старушка.
А после на пятак взял рубль он барыша.
Куда ж пойдет душа
Такого торгаша?
В ад, разумеется, конечно!
По приказанью трех безжалостных сестер

Из книг, им проданных, там сделают костер,
И будет жариться он вечно.

РАЗГОВОР В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

«Что, есть у вас Кутузова портрет?»
— «Без рамки пять рублей».—«О деньгах слова нет...
Пожалуй книги мне Платóва, Витгенштейна,
Да их *деяния*».—«Прикажете связать?»
— «Потом *Записки*... как? *Манштейна.*
Наука побеждать
Суворова!.. люблю сердечно!..
Вот карту бы еще Италии я взял».
—«Вам *генеральную?*»—«Конечно:
Я не полковник, *генерал*».

1816 г.

СЛЕНИНА ЛАВКА

У Сленина в лавке на креслах сижу,
На книги, портреты уныло гляжу.
Вот брат наш Державин, вот Дмитрев, Крылов,
А вот Каталани—под нею Хвостов.

Тимковского-цензора тут же портрет.
Есть даже Гераков—Измайлова-с нет.
Авось доживу я до светлого дня.
Авось в книжной лавке повесят меня. ⟨...⟩

1823 г.

* * *

«Все только с книгами! Не посидит с женою!
Хотела б книгой быть—тогда бы вы, сударь,
Надеюсь, всякий день уж занимались мною».

— «Ах! Если б, душенька, была ты календарь».

1818 г.

* * *

Корнет наш Ипполит,
Хоть молод, никогда без дела не бывает;
Он в карты не играет,
А с трубкой вечер весь за книгами сидит.
Какие ж книги он читает?
«Военные?»—«Зачем? ведь он еще корнет».
— «Романы?»—«Не берет романа никакого».
— «Моральные?»—«О нет!»
— «Да что ж читает он?»—«Грекура и Баркова».

1818 г.

А. С. ГРИБОЕДОВ И П. А. КАТЕНИН

СТУДЕНТ

КОМЕДИЯ В ТРЕХ ДЕЙСТВИЯХ

Явление 13

Беневольский, Прохоров

Прохоров *(читает записку)*. Евлампий Аристархович Беневольский, недавно приехавший в Санкт-Петербург, обучался в Казанском университете разным языкам и наукам, знает грамматику.

Беневольский. Это я. Что вам нужды до меня, вам, чуждым моей скорби?

Прохоров. Вы без места, как мне довелось слышать, находитесь?

Б е н е в о л ь с к и й. Я всеми отвержен, душа моя подавлена под гнетом огорчений.

П р о х о р о в *(садится)*. Позвольте присесть. Я некоторое такое место имею, недавно упразднившееся, вам особенно свойственное.

Б е н е в о л ь с к и й *(в сторону)*. Он для меня имеет место! стало, слышал обо мне, я здесь известен. *(Громко)*. Что побудило вам подать мне руку помощи? кого я в вас вижу?

П р о х о р о в. Мое прозвание Прохоров, говорил мне об вас его превосходительство Александр Петрович, у которого вы жительство имеете.

Б е н е в о л ь с к и й. Ах, сударь! я об вас от него столько наслышался,—вы, кажется, близки его сердцу.

П р о х о р о в. Я только с давешней поры имею честь быть включенным в число его знакомых.

Б е н е в о л ь с к и й. Как, сударь! не прежде?

П р о х о р о в. Действительно так. Мы встретились в милютинских лавках, в 9 номере. Его превосходительство кушать изволили фрукты, а я кое к чему приторговывался.

Б е н е в о л ь с к и й. Он мне сказывал, что ваше имя пользуется большой известностью.

П р о х о р о в. Справедливо так. Вы мое имя на заглавных листках многих книг помещенным видеть можете.

Б е н е в о л ь с к и й *(в сторону)*. Ему посвящают книги! *(Громко)*. Позвольте, сударь, и мне поднести вам мои опыты в прозе и стихах, досуги моей беспечной музы; они, конечно, будут приняты публикою с большою благодарностию, если украсятся вашим именем.

П р о х о р о в. О! государь мой, сие для меня слишком много, я не более, как честный

содержатель типографии; но вы хорошо сделаете, если оные ваши труды нашему директору посвятите, он человек достопочтенный и надворный советник.

Беневольский. Как! вы содержатель типографии?

Прохоров. Именно так. Не соизвольно ли вам будет дать мне на образец ваше некакое рукописание? Сие весьма необходимо.

Беневольский. К чему ж это? Если вы хотите видеть мой почерк, то я уверяю вас, что он самый плохой,—отрисовка моих идей обнаруживается не в красивых литерах. Если вы хотите знать мой слог, то можете найти кучу моих произведений во многих известных наших журналах, в «Сыне Отечества», например.

Прохоров. Сие периодическое издание из лучших, нумера выходят всегда аккуратно, буквы отменно четкие, бумага вообще хорошая.

Беневольский. О! сударь, с какой точки зрения вы смотрите на вещи!

Прохоров. Вы, вероятно, переводите?

Беневольский. И сочиняю.

Прохоров. Весьма похвально. Знаете ли вы правописание?

Беневольский. Помилуйте, я, кажется, сказал, что многие мои сочинения помещены в журналах.

Прохоров. Бесспорно так. Но я скажу вам, государь мой, что многие из наших, впрочем весьма почтенных словесников, коих сочинениями журналы наполняются, удостаивают меня своими посещениями: из них большая часть не весьма тверды в правописании. Оно же, правописание, разумею я, главное есть для той должности, которую я предлагаю вашему благоуважению.

Беневольский. Какая ж это должность?

Прохоров. Должность сия в том состоит, дабы с неусыпным бденьем за ошибками, встречаться могущими при книгопечатании, надсматривать.

Беневольский *(в сторону)*. Скорее влачить за собою котомку нищеты, чем взять на себя эту прозаическую, неблагодарную должность.

Прохоров. Вы имеете ежегодно получать в определенные сроки четыреста рублей, и за прочтение печатаемых книг задельная плата с каждого листа по пяти копеек вам без задержки производиться будет.

Беневольский *(в сторону)*. Он мне душу раздирает.

Явление последнее

Те же и мальчик

Мальчик. Мне, сударь, пора домой идти.

Беневольский. Что тебе надобно?

Мальчик. Я за вами бутылку с вином давеча принес, этот офицер сказал, что вы заплатите, а меня хозяин наш мусье побьет, коли я промешкаю.

Беневольский. Ах, братец! у меня человек вышел, унес ключ от шкатулки. Милостивый государь! я согласен быть у вас корректором; между тем заплатите за меня небольшой этот долг.

Прохоров. С превеликим удовольствием, в зачет будущего вашего жалованья.

Беневольский. Мечты моей юности! мечты, сопровождавшие меня из Казани сюда! сопутницы неизменные! куда вы исчезли, заманчивые?..

Конец комедии

1817 г.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»

Иные любят книги, но не любят авторов — неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.

Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: я читал эту книгу! так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя была внесена вовремя в собрание приворотника, оттуда в гостиную и на другой день заброшена в вазу, а если имя твое в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, но не видать человека; остается заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги, не все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитаешь много шапочных связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы; лишнее чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а иногда и выживает пользу действительную. Теперь много занимаются составлением изданий сжатых (edition compactes); но эта экономия относится только до сбережения бумаги: хорошо, если нашли бы способ сжимать понятия и сведения (впрочем, без прижимки) и таким образом сберечь время читателя, которое дороже бумаги. Как досаден гость не в пору, которому отказать нельзя; как досадно появление книги, которую непременно должно прочесть сырую со станка, когда внимание ваше углубилось в чтение залежавшейся или отвлечено занятием, не имеющим никакой связи с нею.

По новым усовершенствованиям типографической промышленности во Франции, семьдесят томов Вольтера сжаты в один том. Что будет с нами, если сей способ тиснения дойдет до нас? Вообразите себе на месте дородного и высокорослого Вольтера иного словесника нашего или ученого известного, известнейшего, почтенного, почтеннейшего, достопочтенного, по техническим титулам отличия в табели о рангах авторов, употребляемым в языке журнальном, газетном и книжном. Того и смотри, что вдавят его в пять или шесть страниц.

Мы видим много книг: *нового издания, исправленного* и *дополненного*. Увидим ли когда-нибудь издание *исправленное* и *убавленное*. Такое объявление книгопродавцев было бы вывескою успехов просвещения читателей. Галиани пишет: чем более стараюсь, тем более нахожу что убавить в книге, а не что прибавить. Книгопродавцам расчет этот невыгоден; они требуют изданий дополненных, и глупцы (потому что одни глупцы наперехват раскупают книги) того же требуют!

Дмитриев много читает и большой скопидом на книги свои. Когда которой из них не окажется, и он не помнит, кто зачитал ее, он посылает слугу по списку всех своих знакомых, к каждому из них, с настойчивым требованием возвратить взятую у него книгу. При поголовном обыске виноватый отыщется.

Другой библиофил и библиоман, граф Бутурлин, которого библиотека в Москве до 1812 года пользовалась европейскою известностью, держался другого правила: он никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда, по каким-либо

уважениям, он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгой для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища.

На приятельских и военных попойках Денис Давыдов, встречаясь с графом Шуваловым, предлагал ему всегда тост в память Ломоносова и с бокалом в руке говорил:

Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.

Он же рассказывал, что у него был приятель и сослуживец, большой охотник до чтения, но книг особенного рода. Бывало, зайдет он к нему и просит, нет ли чего почитать. Давыдов даст ему первую книжку, которая попадется под руку.—«А что, это запрещенная книга?»—спросит он.—«Нет, я купил ее здесь в книжной лавке».—«Ну, так лучше я обожду, когда получишь запрещенную». Однажды приходит он с взволнованным и торжественным лицом.—«Что за книгу я прочел теперь,—говорит он,—просто чудо!»—«А какое название?»—«Мудреное, не упомню».—«Имя автора?»—«Также забыл».—«Да о чем она толкует?»—«Обо всем, так наповал все и всех ругает. Превосходная книга!» Из-за этого потребителя бесцензурного товара так и выглядывает толпа читателей. Кто не встречал их? Хороша ли, дурна ли контрабанда, им до того дела нет. Главное обольщение их контрабанда сама по себе. Одна зрелая дева из русских немок также принадлежала к разряду исключительных читателей. Она все требовала книг, где есть про любовь. Приходит она однажды к зна-

комой и застает ее за чтением. «Что вы читаете?»—«Древнюю историю».—«А тут есть про любовь?»—«Есть, но только в последнем томе, а их всего двадцать».—«Все равно, дайте мне, я на досуге их прочту».

N. Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько книг издал он в свет!

NN. Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру.

N. говорит, что сочинения К.—недвижимое имущество его: никто не берет их в руки и не двигает с полки в книжных лавках.

В каком-то уезде врач занимался, между прочим, и переводами романов. Земляк его по уезду написал по этому поводу:

Уездный врач Пахом в часы свободы
От должности убийственной своей,
С недавних пор пустился в переводы.
Дивлюсь, Пахом, упорности твоей:
Иль мало *перевел* в уезде ты людей?

В чернилах есть хмель, зарождающий запои. Сколько людей, если бы не вкусили этого зелья, оставались бы на всю жизнь порядочными личностями! Но от первого глотка зашумело у них в голове и пошло писать! И пьяному чернилами море по колено. А на деле выходит, что и малая толика здравого смысла, данная человеку, захлебывается и утопает в чернильнице.

Вопрос: Что может быть глупее журнала такого-то?

Ответ: Подписчики на него.

О злоупотреблении слов. А можно ли счесть злоупотребление слов в заглавиях книг, журналов и проч.! Выставляйте на книге заглавие ей приличное, а не злоупотребительное, и сколько из них останутся в книжных лавках, не уловляя добросовестной доверчивости тех читателей, которые судят о вещи по ярлыку.

Вместо *«Рассуждение о...»* скажите: *«Бредни о...»*, помня, что слово рассуждение происходит от рассудка, вместо *«Друг просвещения...»* выставьте: *«Недруг просвещения...»* Не говорите: «Такой-то перевел Горация», но скажите—«Такой-то развел Горация», т. е. развел его в жидкости своих водяных стихов. «Переводить, перевесть» употребляется у нас в значении и уничтожить. Например, говорят: Дмитриев перевел многие басни Лафонтена, Жуковский перевел «Шильонского узника». Это так; но говорят и этак: перевесть крыс. ⟨...⟩

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСПОВЕДЬ

⟨...⟩ Другой вам наизусть всего Хвостова скажет,
Граф Нулин никогда без книжки спать не ляжет,
И не прочтет двух строк, чтоб тут же не заснуть;
Известный краснобай: язык—живая ртуть,
Но жаль, что ум всегда на точке замерзанья:
«Фрол Силин», календарь Острожского изданья,
Весь мир ему архив и мумий кабинет;
Событий нет ему свежей, как за сто лет,
Не в тексте ум его ищите вы, а в ссылке;
Минувшего Циклоп, он с глазом на затылке. ⟨...⟩

1854 г.

ИЗ «ПОСЛАНИЯ К И. И. ДМИТРИЕВУ»

⟨...⟩ Легко идет в единоборство
С упорством рифмачей читателей упорство.
Что не читается? Пусть имянной указ
К печати глупостям путь заградит у нас.
Бурун готов отмстить сей мере ненавистной,
И промышлять пойдет он скукой рукописной.
Есть род стократ глупей писателей-глупцов—
Глупцы читатели. Обильный Глазунов
Не может напастись на них своим товаром:
Иной божиться рад, что Мевий пишет с жаром.
В жару? согласен я, но этот лютый жар—
Болезнь и божий гнев, а не священный дар.
Еще могу простить чтецам сим угомонным,
Кумира своего жрецам низкопоклонным,
Для коих таинством есть всякая печать
И вольнодумец тот, кто смеет рассуждать;
Но что несноснее тех умников спесивых,
Нелепых знатоков, судей многоречивых,
Которых все права—надменность, пренья, шум,
И глупость тем глупей, что нагло корчит ум!
В слепом невежестве их трибунал всемирной
За карточным столом иль кулебякой жирной
Венчает наобум и наобум казнит;
Их осужденье—честь, рукоплесканье—стыд. ⟨...⟩

1819 г.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Мудрец, или лентяй, иль просто добрый малый,
Но книгу жизни он с вниманьем не читал,
Хоть долго при себе ее он продержал.
Он перелистывал ее рукою вялой,
Он мимо пропускал мудреные главы,
Головоломные для слабой головы;

Он равнодушен был к ее загадкам темным,
Которые она некстати иль под стать,
Как сфинкс, передает читателям нескромным,
Узнать желающим, чего не можно знать;
Не подводил в итог гадательных их чисел,
Пытливого ума не чувствовал тоски;
Нет, этот виноград ему всегда был кисел,
Простая жизнь его простую быль вмещает:
Тянул он данную природой канитель,
Жил, не заботившись проведать жизни цель,
И умер, не узнав, зачем он умирает.

Между 1873 и 1875 гг.

О. И. СЕНКОВСКИЙ

НЕЗНАКОМКА

СТАТЬЯ ДЛЯ МОЕГО ХОЗЯИНА

⟨...⟩ Я книга; я сама Сатира. Стою у моего хозяина, А. Ф. Смирдина, в его библиотеке для чтения, по левую сторону дверей залы, в среднем шкафу, на второй полке, и готова дать вам ответ во всякое время. Приходите ко мне; потолкуем!..

Между тем, в нескольких словах расскажу вам историю моей жизни—где была, как жила, что делала и как теперь провожу время. Умолчу только о моем заглавии: заглавие в книге не более значит, чем у вас титулы.

Я родилась в конце XVII столетия. Отец мой был бедный попович, который, изучив душу человека в Киевской академии, женщин во время «киевских контрактов» и сердце человеческое в Нижнем Новгороде, сочинил было толстую книгу «О добродетели». Люди и смотреть не хотели

на его добродушный труд, по одному заглавию. Он написал резкую Сатиру на их глупость: они прочитали ее с удовольствием и сказали, что это написано на их соседей. Книга его «О добродетели» пропала без вести; картина глупостей современников его одна лишь исправно дошла по адресу—до потомства и бессмертия. Это—я.

По обыкновению того времени, всю свою молодость провела я в рукописи, таскаясь по монастырям и забавляя дьячков и семинаристов. Наконец, я вышла в свет. Не стану вам описывать, как меня набирали, печатали и переплетали: это происходило слишком известным и обыкновенным порядком, в начале прошлого века. Тогда еще не было в России ни цензоров, ни цензурных комитетов: частный пристав, временно исправлявший должность полицмейстера, был моим крестным отцом и с стаканом ерофеичу в руке благословил меня на выпуск из типографии. Но вот что навсегда оставило в моей душе глубокое впечатление. Мой батюшка был вне себя от восхищения и восторга при виде своей любезнейшей дщери, возрожденной, умной, ловкой, сияющей всеми прелестями свежей печати и нового переплета: он нежно прижимал меня к сердцу, целовал, орошал слезами, предсказывал мне успехи и упивался чистейшею радостию; он мечтал даже о славе и деньгах, и умер с голоду через три месяца после этой радости.

По смерти честного, доброго, благонамеренного моего родителя его дети и кредиторы нашли в его лачужке только нищету полезного автора и Сатиру на людей, то есть меня. Дети принуждены были довольствоваться первою; меня, как рухлядь, заграбил к себе один ростовщик, давший денег на уплату за печать и бумагу, и

отнес на свою квартиру. Он прочитал меня за свой долг три раза с большим вниманием, и еще один раз за проценты—я никогда не имела такого прилежного читателя!—и нашел, что я совершенно права— что у людей нет ни рассудка, ни сердца, когда они не умеют любить и беречь такой драгоценной вещи, как копейка, ни совести, когда они занимают у него деньги, клянутся в своей исправности и не отдают в срок.

У этого ростовщика был старинный знакомец, русский боярин из татарских вельмож, весьма дурной плательщик, который давно уже не возвращал ему ни капитала, ни процентов, и дерзко напоминал ему о своей знатности, когда тот напоминал ему о прошествии срока. Чтоб усовестить заматерелого должника, ростовщик взял меня с собою в карман, снес к нему и в его отсутствие положил на мраморном столике с золочеными ножками, стоявшем перед пышным диваном.

Сначала великолепие барского дома ослепило мое зрение, и я повсюду видела только золото и счастие. Но скоро глаза мои привыкли к блеску, и я приметила на стенах, на полу, на креслах, на столах и на кровати гадкие пятна порока, следы нищеты и разврата, искусно затертые роскошью. Я почувствовала отвращение.

Я пролежала там несколько месяцев, пока меня приметил боярин. Однажды попалась я ему под локоть, когда он подписывал на том же столике вексель для своей любовницы, и удостоилась его внимания. Он взял меня в руки, осмотрел, увидел, что я русского изделия, и с презрением бросил меня в угол залы, так сильно, что все мои страницы засвистели. Я чуть не закричала с досады на этого монгола, хотя книгам, как известно, кричать у нас не позволено, и глотая

слезы обиды, все свои строки приправила свежею желчью.

Когда он уехал на бал, лакеи подняли меня в углу и вынесли в переднюю. Здесь в первый раз по смерти моего родителя встретила я людские ласки. Дюжий Еремей, камердинер моего вельможи, и миленькая горничная Наташа уселись читать меня по слогам; они смеялись, толкали друг друга и в каждом моем слове находили явный намек на своего господина. Я думаю, они не ошибались: я так была зла на него в ту минуту!.. Но чтение более и более становилось занимательным. Еремей хотел поцеловать Наташу; она закрыла себе лицо мною, и его огромные поцелуи упали прямо на мою обертку. Потом Наташа уронила меня из рук на землю... Ах, как они были растроганы в тот вечер!.. Тут я впервые увидела счастие человеческое: оно сидит в передней.

Я пробыла шесть лет в этом месте. Жизнь в передней, где я обыкновенно лежала на окне между бутылками с квасом и подсвечником, довольно мне понравилась. Я имела множество читателей. Все просители в ожидании выхода знаменитого моего хозяина проводили со мною свое время и забавлялись моими остротами насчет его. Они применяли к нему все описываемые мною слабости и недостатки; хохотали, как тетеревы в лесу, и тогда только унимались, когда дверь кабинета отворялась и начиналось поголовное ползание. Это было очень забавно!.. Однако ж для чести как самих знаменитых хозяев, так и стекающихся к ним просителей, не советовала бы я никому из первых класть Сатиру на людей в своей передней.

В одно утро пришел к нам какой-то молодой человек, довольно порядочно одетый. Он увидел

меня на окне, схватил, посмотрел и опять бросил; потом он отошел в сторону и равнодушно стал у печки. Я заметила, однако, что он поглядывает на меня с необыкновенною нежностию. Я думала, что, может статься, он родственник, или короткий приятель покойному батюшке. Спустя четверть часа он снова приблизился к окну и тут, сама уж не знаю каким образом, очутилась я в его кармане. Вскоре обнаружилась причина нежности его ко мне. Это был почтенный любитель отечественной словесности, который дешевым образом собирал книги для своей библиотеки: он украл меня из передней и запер у себя в шкафу, где я с сотнею других, подобных мне пленниц, душилась в пыли и темноте, поминутно обороняясь от летающей роем моли, плакала и кляла свою судьбу. Вы никогда не бывали книгою и не знаете, что значит быть разбойнически похищенною бессребреным любителем словесности: это ужас!..

Он стерег меня, как евнух женскую добродетель, но в печатном государстве есть разного рода промышленники. До него добрался один записной читатель книг, который выпросил меня у него на одни сутки и никогда ему не отдавал. У этого читателя взял меня другой читатель, который тоже не имел привычки возвращать книги, и с тех пор я пошла по рукам. Я кочевала таким образом сорок лет. Я была и у судьи, который торжественно накрывал мною стакан горячего пуншу, как скоро начинал он любимое свое рассуждение о двусмысленности всех вообще законов, и у секретаря, который нарочно держал меня на своем столике, чтоб люди знали, куда класть взятки, и у неверной супруги, которой всегда весьма ловко попадалась я в руки всякий раз, как муж ее приходил

домой скорее обыкновенного. Словом, я была везде—в палатах и в конюшне, в кухне и в академии—и везде была полезною. Я переносила на себе семь оберток разного цвета и достоинства и дважды испытала сладость супружеского счастия, быв первым браком переплетена в одну книжку с развратным романом, а вторым—с толстым таможенным тарифом. Последний—вечная ему память!—был очень мягкого сердца: его все обижали!..

По смерти тарифа, которого затравили приставами собственные его сочинители, перешла я, нагая, без переплета, оцарапанная нашими гонителями, к одному купцу, торговавшему книгами, кнутами, табаком и мылом в небольшой лавочке поблизости Щукина Двора. Тот дал мне красивую оболочку и поставил меня на видном месте. Но, несмотря на его уловки, никто не купил меня, и через несколько времени я была передана им в библиотеку для чтения, где нахожусь и теперь уже с лишком пятьдесят лет.

Я видела, когда эта библиотека, первая образовавшаяся в Петербурге, еще была почти пуста и состояла из нескольких сотен томов. Она приумножалась всякий день, но приумножалась очень медленно и в первые годы моего в ней пребывания прибытие новой книги почиталось у нас праздником. Было время, что даже сочинения, изданные чрез Василия Тредиаковского, радовали нас и наших посетителей своим появлением.

В конце минувшего века число сестер моих вдруг стало увеличиваться: это были, по большей части, уроженки заморских земель, наряженные как-нибудь переводчиками в сарафан и кокошник, и мы, коренные русские книги, не иначе называли

их между собою, как «полуобруселыми чухонками». Они, как часто встречается в мире, ели наш хлеб и нас презирали: мы в своем доме принуждены были кланяться им и уступать почетное место, потому что наша партия была слишком малочисленна и слаба. Она значительно усилилась в первое двадцатипятилетие настоящего века, так что наконец мы почувствовали в себе довольно смелости и тщеславия, чтоб иногда и столкнуть чухонку с полки и подтрунить над немцами вообще. Не знаю, до какой степени были мы правы, но... но все-таки лучше!.. сердцу легче, когда побранишь немца.

Между тем и партия чухонок так же беспрестанно получала новые и важные подкрепления. Случались уже между ними и такие, которые по-русски говорили очень чисто и бранились не хуже тех, кои «знают Русь и которых Русь знает». Мы ссорились с ними ужасно, пока хозяин не примирил нас палкою.

Народонаселение нашей библиотеки возрастало неимоверным образом: не проходило дня, чтоб какая-нибудь новая книга не поступила в наше сословие. Но настоящая вьюга печатной бумаги подула на нас только с 1827 года. Прежде мы все были знакомы между собою; теперь в нашей зале завелся подлинно книжный раут: книги приходят, выходят, толпятся, толкают друг друга, появляются и исчезают навсегда, прежде нежели успеешь узнать их фамилию.

Все благомыслящие русские книги должны без сомнения восхищаться столь блистательным возвышением числа, могущества и славы своего рода: я тоже восхищаюсь им от чистого сердца, но не могу сказать, чтоб была совершенно довольна нынешним моим положением в библиотеке. Я попала в дурное общество. Преж-

ние наши гостьи, вновь выходившие русские книги, были вообще особы хорошего тона и строгих правил: все толковали о нравственности, о приличиях, о висте, о пунше, о прекрасном, о трех единствах—ну, словом, о делах важных; теперь, большею частию, приходят к нам цыганы, воры, игроки, черти, колдуны, ведьмы, каторжные и непотребные женщины. О времена! о словесность!.. И вся эта сволочь так и садится на первые места, рассуждает, кричит, поет застольные песни, ругает свет, и нас, старые книги, называет башлыками!.. Я прихожу в отчаяние. Представьте себе, что со мною случилось! При перевозке нас от Синего моста на новую квартиру меня как-то поставили между вовсе незнакомыми книгами. Они были на «вы», в отличных обертках по последней моде, и я сначала совестилась спросить у них об их чине. Но при первом разговоре они сами объявили мне, что одна из них Разбойник, а другая Наложница. Прошу покорно вообразить мой стыд, ужас, негодование!.. Я, честная книга, Сатира, памятник времен Петра Великого, дщерь чада духовного звания, я должна стоять между разбойником и наложницею!! О, это уж слишком!!! Я просила почтенных моих соседок оставить меня в покое и избрать себе место где-нибудь подальше, но эти наглянки отвечали мне, что я глупа, стара, забыта всем светом, что они в большой моде, бывают у княгинь и у графинь, и везде хорошо приняты, что я должна молчать, не то они отделают меня по-своему в союзных с ними газетах. Я вздохнула и замолчала. Между тем подошел к моему шкафу один из приказчиков. Как бы мне воспользоваться этим случаем?.. Он на меня не смотрит и не знает моих мучений... Счастливая мысль!.. надобно тронуть его

сердце! я знаю путь к сердцу человеческому... я свалилась с полки прямо на нос приказчику и упала у его ног на землю. Иван Яковлевич испугался, закрыл себе лицо обеими руками: слезы полились у него из глаз!.. Он долго не понимал, что с ним сделалось; наконец увидел меня на полу, поднял, оправил, обдул пыль и поставил на полке, но уже в другом месте. Теперь я живу в гораздо лучшем обществе. Возле меня, по правую сторону, стоит Речь, торжественно произнесенная в Мещанской, лет десять тому назад, для поучения учащегося юношества; по левую обретаются какие-то весьма важные Дорожные записки, «посвященные почтеннейшему и нежнейшему полу». С торжественною Речью я мало знакома и неохотно братаюсь, потому что она—в шутку ли, или серьезно?—всякий раз доказывает мне, что не надобно ничему учиться, хвастая тем, что она была даже напечатана в Журнале Д.Н.П., но с Дорожными записками мы большие приятельницы: они в восхищении от моего старинного слога, начиненного славянскими речениями; я опять слушаю с удовольствием рассказы их о том, как они брились на всяком ночлеге при двух восковых свечах и какие прелестные ручки случалось им видеть у малороссийских кухарок, с коими оне... Это очень любопытно!..

Но как бы то ни было, несмотря даже на дурное общество, жизнь книг в библиотеке для чтения необычайно весела и приятна. Вы видите нас безмолвно стоящими на полках и думаете, что мы лишены всякого чувства и понятия?.. Ничего не бывало! У нас столько же ума, те же склонности и страсти, как и у наших сочинителей. Мы стоим смирно, как гробовые камни, только в присутствии людей, но когда все

уйдут, как скоро потушат кенкеты, у нас тотчас начинается шум, крик, суматоха—настоящая республика. Мы говорим все вместе, поем, пляшем, прыгаем с полки на полку, делаем визиты и сплетни, пересмеиваем сочинителей, пересмеиваем читателей, пересмеиваем всех и друг друга, несем вздор и рассуждаем, злословим и хохочем. Старые Риторики спорят до слез с молодыми Предисловиями о классицизме и романтизме, о преимуществе сора греческого перед грязью французской. Романы прошлого века вздыхают и плачут; Романы нашего века зевают и кусаются; Поэмы парят под потолком, падают и дерутся со своими рецензиями; Алгебры бранятся с Снотолкователями, Законы противоречат один другому, Истории врут без памяти, Психологии морочат, Руководства надувают, Грамматики скоблят русский язык ножами, как кожевники шкуру; Логики беснуются, Лечебники важно советуют им всем пустить себе кровь и принять слабительное. На середине зала составляются иногда книжные танцы: *Степенная книга* с *Ядром российской истории* открывают бал; за ними тотчас пускаются *Дворянин-философ* с прекрасною *Тилемахидою, Хаджи-Баба* с *Дочерью Купца Жолобова* и многие другие пары. *Мысли о происхождении миров* с *Мыслями о существе басни; Словарь Академии* пляшет вприсядку с *Опытом о русских спряжениях; Музыкальная грамматика* играет им на волынке, а *Северная пчела,* сидя на полке, рассуждает о музыке. Есть даже проказницы, особенно из воспитанниц романтической школы, которые тихонько слезают с полок, притворяются домовыми и мертвецами и кружат около шкафов, чтоб пугать Физики, Математики и Философии: те, хотя на словах и не

верят ни в домовых, ни в чертей, но при виде призраков так и прячутся со страха за *Собрания грамот* и другие толстые сочинения. Мы, старушки, помираем со смеху и по временам читаем младшим проповедь, стараясь обуздывать наклонность их к шалостям. Но лишь только заскрипят двери или послышится голос приказчиков, мы все мигом разбегаемся по своим местам и стоим чинно, смирно, неподвижно, как девушки в пансионе, когда войдет незнакомый мужчина.

Так проводим мы ночи. Днем мы молчим и делаем свои наблюдения над посетителями, читателями, покупателями, авторами, журналистами, зеваками, над всем, что делается и говорится в магазине. Замечания свои пересказываем мы друг другу ночью, и они составляют для нас новый, неисчерпаемый источник потехи. Ну, право, есть чем позабавиться! Настает утро, жилище наше наполняется народом, толпятся господа и слуги, мужчины и женщины, статские и военные, старые и молодые, грамотные, полуграмотные, безграмотные, с билетами, без билетов, с деньгами и без денег. Раздается общий говор; здание гремит смешанными голосами: вопросы, ответы, требования, рассуждения, остроты и плоскости сыплются на нас перекрестною картечью, прорезывают воздух во всех направлениях, пересекаются, минуются, сталкиваются, отталкиваются, откликаются невпопад; потом сливаются все вместе и образуют в зале густой, неразглядный туман звука.

— Любезнейший, дай мне *Свод законов*: мне нужно подцепить законец к моему делу.— Тьфу, пропасть!.. Какая глупая статья в сегодняшнем нумере...—Моя барышня приказала спросить у вас *Гирлянду*...—А я нахожу, что она

очень мила...—Вы говорите об этой статье?..— Извольте, сударь, вот вам *Два Ивана.*—Нет, я смотрю на горничн...—Тотчас, тотчас, сударыня...— Господа, потише!..—Как же эту Гирлянду пришить к платью?..—Она отворачивается!..—Проказники!.. ха, ха, ха!..

— Барин просит отпустить ему *Хромоногию.*— Что такое?.. Хромоногию?.. покажите записку.— А, Иван Тимофеевич!.. вы уже ротмистр?— Да уже полтора года...—Не Хромоногию, братец, а Хронологию!..—Для нас это все равно.— Что вы здесь поделываете?—Покупаю книги... Есть у вас *Диэтетика?*—Да наша публика...— Еду покупать хомуты.—Все читает!.. Ей лишь бы книги.—А мне лишь бы продать свою рукоп...— Вот Диэтетика, которую вы спрашивали.—Это о сохранении души?.. А нет ли другой, о сохранении лошадей?..—Извините, сударыня, все экземпляры *Онегина* разобраны.—Так дайте мне *Угнетенную невинность,* или *Поросенок в мешке.*— Прощайте!—Ну что? Сколько распродано экземпляров моей книги?—Ни одного, сударь.—Наша публика ничего не читает!—Скоро ли выйдет его роман из печати?—Еще не написан.—Зачем же публикуют?..—Так и быть! куплю *Дурацкий колпак.*

— Нет ли чего-нибудь почувствительнее? Моя хозяйка любит плак...

— Это сочинитель?.. Позвольте мне взглянуть на него: мне никогда не случалось видеть сочинителя.—Таки порядочно напива...—Странная фигура!..—Надо купить *Коран Виста:* говорят, ученая книга.—Как прекратилось издание?.. Кто ж мне возвратит деньги за эти журналы?— *Отгадай, не скажу,* или Любопытные загадки, в Москве и Санкт-Петербур...

— Прошу мне дать *Два плута!..*

— Вы давно из деревни?—Только вчера приехал и опять уезжаю.—Вот, сударь, ваши книги.—Прикажите свесить их, любезный! Сколько за пуд?..—Мы книг не продаем пудами.—А у нас так на пуды их покупают!..

— Нет ли у вас *Поездки Греча к Булгарину?*—Вы хотите сказать—в Германию?—А мне какая до того нужда, куда они ездят... лишь бы остро писали!..

— Кто спрашивал *Великолепный вздор?*

— Я требую *Историю русского народа...*

— Вот, живешь потихоньку, и заехали сюда купить на всякий случай *Логику для дворян Мочульского.*—Да!.. теперь у нас выборы.—Одолжите же мне *Добродетельную преступницу,* для моей жены!..—А мне *Искусство брать взятки...*—Кто это такой?—Сбираюсь, сударь, ехать в губернию: благосклонное дворянство избрало меня...—Итак, до свидания!..

— Вот, брат, купил для своих детей *Детские досуги, изданные при помощи литераторов.* Должно быть, хорошая книга: ее расхвалили в журналах. Посмотри, как теперь дети здраво рассуждают:

Кого ударишь, извинися;
Вперед не бей.
Напьешься, поскорей проспися;
Вперед не пей.

— Точно, нравственность подвигается.—Не взять ли еще *Похвалу пуншу?..*—Читали ли вы книгу *О счастии дураков?*—Почтеннейший, дайте мне статейку для альманаха.—Так что ж, что книга глупа, когда она хорошо продается?—Пожалуйста, дайте статейку...

И так далее, и так далее.

Я представила вам только легкий, неясный, беглый, начертанный зигзагами рисунок тех разнородных толков, которыми беспрестанно оглашаются своды нашей словесности. Разбирайте его, ежели угодно. Но если вы желаете составить себе точнейшее об них понятие, то советую вам забраться в шкаф и посидеть на полке двое или трое суток: вы услышите еще не такие вещи!.. Но пора кончать. Вот уже гасят кенкеты. Прощайте, любезный хозяин!

1832 г.

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

⟨...⟩ Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов—ибо он никакого сахару, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может—и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.

Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там печатанные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутонченный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги в стихах и прозе; толстые и тонкие различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологий и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали,—особенно всякие большие поэмы, описательные, повество-

вательные, нравоучительные, философские, эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические, и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он приметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтер Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессениаҗы и баллады,—как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и виньетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный лейб-медик, известный доктор медицины Иппократ, убивший на земле своими рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми в сан отцов врачебной науки,—впрочем умный, проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфелей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.

Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и—вдруг сморщился ужасно.

— Где черт фон-Аусгабе?—вскричал он с сердитым видом.

Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой треугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бес чрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий Gelehrter, ко-

торый знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог высказать наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как пустую словесность,—исключая опечатки, кои почитал он одни лишь изо всех произведений ума человеческого достойными особенного внимания.

— Негодяй! Какие прислал ты мне сухари?— сказал гневный Сатана.—Они черствы, как дрова.

— Ваша мрачность!—отвечал испуганный бес.—Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые, но зато какие издания! Самые новые, только что из печати.

— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же, я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное.

— Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.

— Это лучшие творения вашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!

— Не моя вина, ваша мрачность: я библиотекарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически располагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки: легче этих и желать невозможно—в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли. Если же они не так свежи, то виноват ваш пьяный Харон, который не далее вчерашнего дня сорок корзин произведений последних четырех месяцев уронил в Лету...

Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана из любопытства откинул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел

следующий остаток заглавия: «...ец...оман ....торич... сочн... н...830».

— Что это такое?—сказал он, пяля на него грозные глаза.— Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..

— Видно, оно не стоило того, чтобы разогревать,—промолвил толстый бес с глупою улыбкой.

— Да это с маком!—воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок книги.

— Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака,—отвечал бес, опять улыбаясь.

— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!..—заревел Сатана в адском гневе.— Поди ко мне ближе.

Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиант сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина несчастный смотритель адова книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется добиться в это время смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти беспрерывно. Пустое!..

— Приищи мне из проклятых на место этого педанта кого-либо поумнее,—сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему Вельзевулу.—Я намерен сделать со временем моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел

на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.

— Слушаю!—отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.

Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял Гернаний, Исповедь, Петра Выжигина, Рославлева, Шемякин суд и кучу других отличных сочинений, сложил их ровно, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского гения, сначала приобретших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их со своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности; однако ж это вещь официальная.

Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. ⟨...⟩

1832 г.

Г. Ф. КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО

ПАН ХАЛЯВСКИЙ

ОТРЫВОК

⟨...⟩ Надобно еще обратиться за несколько времени вперед. Один из ближайших сродствен-

ников батенькиных, быв человек отличного от нашего времени ума, много путешествовал по всем пределам Российского государства, и что подметит любопытненькое, то и купит. Таким образом он приобрел довольное количество трубок и табакерок различных сортов, седел, ошейников собачьих, перочинных ножичков, шляп курьезных, пуговиц всяких комплекций и других подобных тому курьезных вещей. На что и для чего?—кроме его, никто не скажет; но надобно отдать справедливость: все эти вещи были отличной доброты и фасона. Кроме того, он, по комплекции своей, очень любил книги. И каких книг не насобирал он?! Это прелесть! Теперь таких книг и у разносчиков не отыщешь. Как теперь несколько помню, там были: Похождение Клевеланда, побочного сына Кромвеля; Приключения маркиза Г.; Любовный Вертоград Комбера и Арисены; Бок и Зюльба; Экономический магазин; Полициона, Храброго царевича Херсона, сына его и разные многие другие отличных титулов. Да все книги томные, не по одной, а несколько под одним званием; одной какого-то государства истории да какого-то аббата,—книг по десяти. Да в каком все переплете! Загляденье! Все в кожаном, и листы от краски так слепившиеся, что с трудом и разберешь.

Вот этот родственник все эти вещи и книги тщательно хранил и уложенных в короба никогда не разворачивал, боясь подвергнуть все это изъяну, и в таком положении умер. Как же был бездетен, то по мере любви своей отказал сродственникам, по значению, вещи. По особенной аттенции своей к моему батеньке, отказал им свое книгохранилище. Когда это все привезено было к батеньке, то они сначала разозлились

было очень за такой, по их размышлению, вздор; а походив долго по двору и рассудив со всех сторон, решили принять, сказав: «Может, мои хлопцы—то есть мы, сыновья его,—будут глупее меня, не придумают, чем полезнейшим заняться, как только книгами. Спрятать их бережненько». Вот это книгохранилище и запрятали в погреб, где стояли бочки с наливками. Там оно и пробыло до теперешнего момента раздела.

Разделившись всякою рухлядью, у нас дошло и до книг. Как ими делиться, вопрос был нерешимый. Петрусь, как гений ума, тотчас меланхолично предложил: выбрать ему следующее количество книг, по числу всей массы; за ним выбираю я столько же, и так далее до последнего брата, коему останется остаток. Меньшие братья мои, быв натуральны, за книгами не гонялись и, чтобы показать нравственность старшему брату, тотчас и согласились; но я, я, санкт-петербургский жилец, следовательно, почерпнувший и тамошние хитрости, я предложил новый метод делиться книгами, едва ли где до нас бывший и весьма полезный по своей естественности и который должны принять за образец все братья, разделяющие отцовское книгохранилище. Вот мой метод: «Брат Петрусь! Вы у нас старший, вы берите первый том; я по старшинству за вами возьму второй, за мною берет Сидорушка третий, Офремушка четвертый и Егорушка пятый. Это книги томные. А одиночки и оставшиеся из томных, за недостающим числом братьев, поставить по порядку и брать каждому по книге, начиная с старшего брата». Метод мой очень понравился предводителю; он от удовольствия так и прыснул, и залился смехом, и очень похвалил мою выдумку. Так Петрусь

же на стену полез! Кричит, спорит и требует, чтоб интересная книга не была разделяема. «Покорный слуга! Так это и отдай всего Клевеланда, а самому «тюти»? Нет, любезнейший братец! Книга редкая, интересная, и я хоть частичку ее желаю иметь. Что за нужда: вторая ли, четвертая; без начала ли повесть, без развязки, да Клевеланд—мое, мне по праву наследства принадлежащее. Не уступлю ни за какие предложения». Так я резал брату Петрусю. И хотя он гений, а я петербур... не знаю, как дописать?—*гец* или *жец*?—он с умом, а я с хитростью, я и переспорил его; а меньшие братья шли по ветру: кто громче кричал, они с тем и соглашались. Настоящая маменькина комплекция была у них, а особливо в предмете, не интересующем их; начни же обсчитывать их в рубле, тут вспыхнет батенькина природа, и резаться готовы.

Таким побытом удержав свое право, я из всех отличных книг получил вторые и седьмые томы. Брат Петрусь, пересмотрев свои, как взбегается, что у него не полные сочинения. Меньших братьев тотчас и одурил; предложил им первые томы отличного песенника, сочиненного Михайлом Чулковым, и Российского феатра, сочинения Веревкина; те по глупости и обменялись на какие-то хозяйственные. Захотелось было и меня «надуть», как говаривал домине Галушкинский. Крепко ему хотелось отжилить доставшиеся мне вторые части: Экономического магазина, не помню, чьего сочинения, и Мирамонда, сочинения знаменитого и навсегда бессмертного Ф. Эмина. Предлагал мне какую-то архитектуру с рисунками. А на черта мне она? Я не плотник; а хорошенькое ради скуки люблю и сам прочитать. Сколько брат ни бился, сколько ни просил, но я твердо пом-

нил правило, поставленное у нас на случай разделов: чего брату хочется, не уступай ни за какие предложения, ни за какие просьбы; благо имеешь случай причинить досаду тому, кто берет у тебя следующее тебе. Не будь его на свете, тебе не нужно бы и делиться. И я удержал книгу за собой, к немалому увеселению нашего почтенного предводителя, который во все время похвалял как выдумку, так и твердость мою и довольно хохотал. ⟨...⟩

1839 г.

П. А. КАРАТЫГИН

АВОСЬ, ИЛИ СЦЕНЫ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ

ШУТКА-ВОДЕВИЛЬ В ОДНОМ ДЕЙСТВИИ

Светильников *(увязывая книги)*. Куда вы там забились, пострелята! Поди сюда кто-нибудь. *(Семен входит.)* Ну, опять есть! Негодяй: здесь пища для ума, а не для желудка, как говорят умные люди. А Ильюшка где?

Семен. Ведь вы сами послали его за обедом.

Светильников. Ах, да, я и забыл... Ну все равно... Отыщи-ка мне книги.

Семен. Какие-с?

Светильников *(смотря в реестр)*. А вот, постой. Где у нас переводный *Кот-Мурр*?

Семен. Кота давно мыши съели.

Светильников. Опять мыши! Ротозеи!.. Ни за чем не смотрят! Этаким манером у меня все хорошие книги будут переводиться. А где у нас *Истинное Благочестие?*

Семен. Должно быть там, наверху.

Светильников. Ну, так возьми лестницу да достань-ка его. Постой на час!.. Посмотри-ко-ся по дороге, куда девались *Муж и жена и Друзья нынешнего времени?*

Семен. А вот здесь, связаны вместе.

Светильников. Давай сюда. Погоди-ка минутку: что я не могу найти *Наполеона?*

Семен *(лезет на лестницу)*. Здесь наверху... вместе с Фридрихом Великим, вон... где маленькие книжки, тут все великие люди.

Светильников. Да разве Наполеон великий?.. Он просто Наполеон... не изволь умничать... Сними-ка его оттуда—вишь больно высоко поставил... Да посмотри-ко, нет ли там *Вальтер Скотта.*

Семен. Его у нас давно нет... ведь мы променяли его на московские романы.

Светильников. Да, да, я и забыл... А где у нас *Повести и Были?*

Семен. Да вот тут были...

Светильников. Нет, это не те; то были другие... А вот они. Этих всех надо завтра послать в Сибирь... а вот этих на Кавказ... Собери-ка их по этому реестру.

Те же и Осьмушкин

〈...〉 Осьмушкин. Что, брат, на днях мне говорили, ты типографию снял?

Светильников. Как же-с, очень дешево уступили, важное заведение!

Осьмушкин *(почесывая голову)*. Ох!

Светильников. Что же-с?

Осьмушкин. Ничего. Только, брат, я тебя помню вот эндакого, торговали мы вместе с твоим

батюшкой, а правду-матку люблю с малолетства... так ты за нее не рассердишься...

Светильников. Помилуйте-с.

Осьмушкин. То-то, брат, плохо, Тимофей Сергеич; нам, людям неграмотным, и книжная-то лавка не под стать, а с типографией, того гляди, ты попадешь в такие тиски, что и боже упаси!

Светильников. Как можно-с, у меня будут печататься газеты, журналы, а может быть, и сам возьму какое-нибудь недельное издание.

Осьмушкин. Ну, час от часу не легче!.. По нашему десять раз отмерь, а один отрежь. Смотри вперед, да и назад оглядывайся... Ведь ты, брат, не книжен, хоть и коротко обстрижен.

Светильников. То есть, что же вы хотите этим сказать?

Осьмушкин. А то, что того гляди и ты, так же как многие из вашей братии, словно муха попадешься в журнальную паутину, с тою только разностью, что паук высасывает у мухи из головы, а журналист из кармана, и что первый сам надуется, а последний вас надует.

Светильников. Помилуйте-с, ведь нынче просвещение.

Осьмушкин. Да, просвещение! Вот как ты прежде торговал сальными свечами, так все шло как по маслу, а как пустился в просвещение, так только и слышишь: там должок, в другом месте не выплачено, ан того и гляди, что нововыпечатанную типографию запечатают, так вот те и просвещение! И принимайся опять за сальные свечи.

Светильников. Помилуйте-с, нынче книги самый расходный товар: кто ничего не знает, тому стыдно и глаза в люди показать.

Осьмушкин. Да тот-то сам давно ли ни аза в глаза не знал?

Светильников. Да-с, а теперь вожусь все с учеными людьми, ума набираюсь. ⟨...⟩

Те же и помещица с лакеем

Помещица. Дайте мне роман Поль де Кока.

Светильников. Какой прикажете?

Помещица. Все равно, какой-нибудь, только получше...

Светильников. Семен... покажи барыне...

Помещица. Что ж ты сам не показываешь? Уж видно, что русская лавка... вон у голландцев в Гостином так всегда сами хозяева торгуют, а к вам придет дама, вы возитесь бог знает с кем.

Светильников. Помилуйте, сударыня, я...

Помещица. То-то, сударь, не знаешь общежития, а еще книгами торгуешь... Да это все не те... и без картинок.

Светильников. Это-с последнее издание...

Помещица. То-то остатки ты и сбываешь... Я сама не из последних, батюшка, я шуйская помещица, а не купчиха какая-нибудь...

Светильников. Да это все единственно... ведь Поль де Кок один, сударыня.

Помещица. Что ты меня уверяешь? Благо я из губернии, так и рад обманывать. Что стоит?

Светильников. Тут напечатано-с.

Помещица. Те, те, те! 2 рубли серебром... за этакие тощие? Нет, жирно будет. У нас на Макарьевской по фунтам продают московские-то сочинения.

Светильников. Вот роман в двух частях, того же автора.

Помещица. Нет, батюшка, у меня четыре дочери, так каждой бы хотелось по книжке привезти.

Слуга *(тихо).* Барыня, купите мне азбуку для первоначального обучения.

Помещица. Вздор, вздор, глупости, глупости... вы и без книг-то нынче умничаете да грубьяничаете, а как сделаетесь учеными, так с вами и не справишься. Что ж... не уступишь?

Светильников. Нельзя, сударыня.

Помещица. Ну так прощай, сам читай по праздникам. *(Уходит.)*

Светильников и Пустевич

Пустевич. Здравствуйте, Тимофей Сергеич... Я к вам на минутку... Что наше дело?

Светильников. Нейдет-с.

Пустевич. Неужели? Что ж моя последняя пиеса?

Светильников. Лежит-с.

Пустевич. Это очень странно... ведь дешево.

Светильников. Да-с, сходно, а в ход нейдет... И бог знает от чего: обертка прекрасная, издание богатое, просто богатое, а не разбирают.

Пустевич. Кто разберет нашу публику?.. Все, кто ни видали ее на сцене, остались довольны. В «Северной Пчеле» ее расхвалили на прошлой неделе, это моя статья; я сам писал об ней, и Библиотека для Чтения ничего не сказала, стало быть, хорошо...

Светильников. Да-с, а идет дурно.

Пустевич. В последнем нумере даже сам Иван Семеныч сказал, что я с этой пиесой далеко пойду...

Светильников. Вот я завтра посылаю книги

в Сибирь, хотите, туда по дороге завяжем?

Пустевич. Зачем же навязывать?

Светильников. Ничего-с, ведь назад не пришлют... Там у меня люди знакомые... да впрочем, не беспокойтесь... как-нибудь понемножку: книжка маленькая, а Россия велика; в Москву пошлем, в губернии, на ярмарки... там как раз купят, было бы дешево. ⟨...⟩

1841 г.

Н. А. НЕКРАСОВ

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ КИРПИЧОВА И КОМП.

ИЗ РОМАНА «ТРИ СТРАНЫ СВЕТА»

⟨...⟩ Среди множества вывесок всех цветов и размеров ярче всех бросалась в глаза исполинская надпись золотыми буквами:

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН
И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ НА
ВСЕХ ЯЗЫКАХ

Надпись оканчивалась фамилией владельца с огромным восклицательным знаком, будто сам художник не мог достаточно надивиться своему произведению и добродушно рекомендовал его удивлению других. ⟨...⟩

Мы сейчас скажем, каким образом Кирпичов сделался книгопродавцем и обладателем великолепного магазина.

Захватив в свои руки состояние жены, он сначала, казалось, не имел никакого определен-

ного плана касательно дальнейшей своей деятельности. Верно одно: продолжать прежнее ремесло, ремесло торговца хомутами, шлеями, шорами и разными сыромяжными товарами в незначительном провинциальном городке ему не приходило и в голову. Он бледнел и терялся, когда ему намекали на прежний род его торговли,—сам же о своем прошедшем никогда не говорил. Накупив множество фраков, пестрых жилетов, перстней и булавок, он поставил себе целью удивлять и озадачивать. И действительно, всегда с поднятой головой, с самодовольным и презрительным взглядом, обладая при том громким и резким голосом, в котором повелительная нота звучала так явственно, что, казалось, развитие ее с самых ранних лет никогда не было задерживаемо, Кирпичов достигал своей цели,—уважение же возбуждал непременное и всеобщее, с удивительным искусством в одну минуту давая почувствовать каждому, что у него не меньше миллиона в кармане. Знался он только с лицами избранными, а кутил с теми, которые умели ему льстить и между которыми мог играть первую роль. Словом, по всему было видно, что Кирпичов почитал себя призванным к деятельности более широкой и благородной, чем торговля хомутами и гужами. Но к какой же именно?

Этого, может быть, долго не решил бы и сам Кирпичов, если б ему не помог случай... Раз он был на балу у богатого купца, где в числе разнородных гостей находился и один сочинитель, по фамилии Крутолобов. Сочинитель, по обыкновению своей братии, говорил о литературе... о ее великом и благотворном влиянии... о ее высоком назначении... о ее лучших деятелях (в том числе, разумеется, преимущественно о

самом себе)... наконец о благородном и высоком призвании тех, которые способствуют ее развитию своими капиталами и которые хотя сами не пишут, не переводят, но в некотором смысле могут назваться литературными двигателями, наравне с первостепенными талантами, и даже более... Словом, Крутолобов тонко высказал такую мысль, что без талантов литература может еще существовать, но без аккуратных, деятельных, расторопных и, разумеется, обладающих огромными капиталами книгопродавцев—решительно не может. Этот разговор произвел сильное впечатление на Кирпичова. Он пожелал познакомиться с сочинителем и пустился в подробные расспросы о книжном деле. Крутолобов знал эту статью превосходно и в час успел сообщить Кирпичову множество важных и любопытных сведений. Надобно здесь сказать для большей ясности, что Крутолобов в ту эпоху видел литературу, по его собственному выражению, на краю гибели; другими словами, книгопродавец, издававший в течение многих лет его сочинения, наконец был окончательно обобран и пущен по миру: настала необходимость создать нового, который за честь знаться с сочинителями и пользоваться их печатными похвалами платил бы чистыми деньгами. Вот источник необыкновенного красноречия в тот вечер. Заметив в Кирпичове жадное внимание, он особенно распространился насчет великой чести и славы, сопряженной с званием книгопродавца.

— Имя его,—говорил он,—дойдет до отдаленного потомства, наряду с именами знаменитейших его современников; каждая книга, обязанная ему своим существованием и украшенная, разумеется, его именем, как издателя, будет

громко свидетельствовать о готовности его жертвовать на пользу науки и просвещения... И в самом деле, как не удивляться ему! Как не благоговеть перед ним! Сколько произведений великого ума не явились бы в свет без содействия его капитала! Сколько талантов погибло бы, если б не его великодушное покровительство!.. Да! Автор создает, творит в тиши кабинета; но книгопродавец... что такое автор со всеми его талантами без книгопродавца? Корабль без мачты... ларчик, в котором, может быть, скрыты сокровища, но ключ от которого потерян... Кто отопрет его и покажет миру скрытые в нем сокровища? Автор творит, но не он, а книгопродавец делает известными свету его творения. Таким образом, книгопродавец—настоящий двигатель литературы, душа, желудок...

Сравнив книгопродавца с желудком литературы, Крутолобов перевел дух. Кирпичов слушал его с жадным вниманием.

— Общество,—продолжал Крутолобов, смекнувший, каким образом нужно действовать на Кирпичова,—общество понимает высокую важность такого лица в среде своей, и надо видеть всеобщее уважение, которым пользуется такой человек... Не говоря уже о том, что все литераторы считают его братом, другом, даже больше—отцом и благодетелем своим... что ему между ними почет и первое место...

Кирпичов гордо поправил свой шарф, черный с розовыми букетами.

—...он скоро приобретает себе друзей,—продолжал Крутолобов, старательно наблюдавший за впечатлением, которое производят его слова на Кирпичова,—друзей позначительнее литераторов. Князь, граф, генерал, каждый сановник,

умеющий ценить общественные заслуги, с любовью подаст ему руку.

Здесь Кирпичов вытянул шею, выпрямился, и вся фигура его приняла величественное выражение.

— А какое наслаждение, какая честь, оказав истинную услугу литературе, удостоиться, например, публичной благодарности! Вдруг печатно— да, печатно—во всех журналах и газетах на всю Русь-матушку объявят, что вот такой-то... положим, хоть... смею спросить ваше имя и отчество?..

— Василий Матвеич,—подсказал Кирпичов.

— ...что вот такой-то Василий Матвеич Кирпичов,—продолжил Крутолобов с торжественною медлительностью, явственно выговаривая каждое слово,—оказал бессмертную услугу русской литературе, что он ее благодетель и двигатель, и что она должна за честь считать, что имеет такого представителя...

— Неужели так и напечатают?—спросил Кирпичов.

— Так и напечатают.

— И имя выставят?—спросил Кирпичов, никогда не видевший своего имени в печати и думавший не без сладкого сердечного трепета, что оно должно выйти удивительно красиво в печати.

— Разумеется,—отвечал Крутолобов.—Да еще не просто, а со всеми титулами; знаете, таких людей ценят, многие за честь почтут сделать такого человека корреспондентом, комиссионером... Да то ли еще? Можно удостоиться даже награды: истинные ценители изящного поднесут вам, например, часы, табакерку, перстень, осыпанный брильянтами...

— Что вы говорите?—воскликнул Кирпичов.— Неужели? Вот в театре... ну, там другое дело: я сам видел, как публика поднесла драгоценный перстень... лестно, точно, очень лестно получить... да неужели можно удостоиться?

— Можно, очень можно... издайте-ка, например, общеполезную, великолепную книгу.

— Издам! Непременно издам!—воскликнул Кирпичов, но тотчас же спохватился и прибавил:— То есть я хотел сказать, что если б я сделался книгопродавцем, так, разумеется, издавал бы все книги большие, красивые, великолепные... по-моему, уж если издавать, так издавать... чтобы все ахнули.

— Вот люблю!—воскликнул Крутолобов с восторгом.—Люблю таких людей! Дельно, дельно смотрите на литературу и разом смекнули, в чем дело. Позвольте вас обнять!

Он обнял Кирпичова, расцеловал и просил о продолжении приятного знакомства.

Кирпичов не спал всю ночь, мечтая сделаться книгопродавцем... Пришла ему на минуту мысль, что он ничего не знает в книжном деле, что он даже и книг сроду никаких не читал, да мало их и видывал на своем веку, но самолюбие его было не из таких, чтоб не дать потачки увлекательной, хоть и нелепой мысли. Поутру он сходил к Крутолобову с визитом. Крутолобов усадил его, попотчевал превосходной сигарой, подарил ему на память первого знакомства свое сочинение «Воспоминание об Адаме и Эве» с собственноручной надписью,—словом, приласкал и очаровал. Опасения Кирпичова окончательно разлетелись, когда Крутолобов положительно сказал и даже поклялся, поставив примером самого себя, что ученье вздор, а нужно только

иметь ум, которого ему, Василию Матвеевичу, не занимать стать, и так довольно: и литературу поймешь, и отличным книгопродавцем будешь.

Кирпичов решился и скоро за умеренную цену приобрел превосходную библиотеку на нескольких языках.

Библиотека была действительно превосходная и досталась Кирпичову по счастливому случаю.

Жил в Петербурге богатый барин, проводивший свои дни в систематических усилиях разориться. Не задумываясь, он тотчас удовлетворял каждую свою прихоть, чего бы она ни стоила, таким образом, пришла к нему, позже многих других страстей, страсть к книгам, и дубовые полки огромных шкафов, занимавших три большие комнаты, затрещали под лучшими произведениями всех европейских литератур, облеченными в роскошные переплеты. Даже русская литература не была забыта—впрочем, больше для полноты библиотеки... барин плохо знал по-русски.

Около года он аккуратно по несколько часов в день посвящал своей библиотеке. Наконец у него явилась новая страсть—страсть к лошадям, и библиотека была забыта...

По старой привычке, однако, она наполнялась аккуратно всеми новыми лучшими книгами на русском, французском, английском, немецком и других языках.

У богатого барина был камердинер, немец, человек, по-видимому, любознательный. Каждый день, уложив своего барина и уходя к себе, он уносил с собой по одному тому какого-нибудь творения... Это продолжалось несколько лет.

Наконец, когда усилия барина увенчались успехом и дела пришли в расстройство, камердинер покинул его.

Спустя еще несколько лет барин умер, оставив по себе несметные долги,—цель, к которой он стремился всю жизнь.

Стали продавать с аукциона его имущество на удовлетворение кредитов. Очень много рассчитывали на выручку с библиотеки, справедливо пользовавшейся славою полнейшего хранилища литературных сокровищ и редкостей. И действительно, покупщиков явилось множество: каждому хотелось приобресть знаменитую библиотеку. Ждали богатой выручки.

Но велико было всеобщее удивление, когда при ближайшем осмотре библиотеки почти все лучшие и редкие творения оказались неполными: недоставало которого-нибудь тома...

Кредиторы повесили нос: покупщики разошлись с ропотом. Никто, естественно, не хотел дать за знаменитое книгохранилище ни гроша.

Тогда явился маленький человек с физиономией весьма незначительной и купил разрозненную библиотеку за бесценок.

Читатель угадал, что покупщик был прежний камердинер богатого барина.

Выждав год, он открыл книжный магазин, наполнив свое приобретение не только недостающими томами, которыми с мудрой предусмотрительностью запасся заблаговременно, но и многими новейшими сочинениями, уже преимущественно русскими. Несколько лет он торговал, по-видимому, довольно счастливо; но, неизвестно по каким причинам, дела его пришли в расстройство. Он прекратил торговлю, оставив большую часть своей библиотеки в залоге.

Эту-то библиотеку посоветовали приобрести Кирпичову. Дело скоро сладилось. Заплатив часть условленной суммы владельцу библиотеки, осталь-

ную и большую часть он обязался внести главному кредитору его, у которого она находилась в залоге.

Кредитор этот был Борис Антоныч Добротин.

Вот начало знакомства и связи Кирпичова с горбуном.

Получив в распоряжение свое знаменитую библиотеку, Кирпичов нанял великолепное помещение и, нимало не задумываясь, прибил на дому огромную вывеску с надписью: Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках Кирпичова и Комп. Последнее слово было крупней всех остальных, затем, что оно стало теперь в глазах Кирпичова важнее всего необъятного количества слов, из которых была составлена знаменитая библиотека «на всех» языках.

Во все концы огромного нашего государства полетели громкие объявления о новом, великолепном светиле на горизонте нашей книжной промышленности... Газетные фельетоны и журнальные известия наполнились похвалами новому двигателю литературы.

День открытия магазина ознаменовался великолепным пиром, на котором некоторые литераторы плясали вприсядку и пели импровизированные куплеты в честь хозяина.

Потом подхватили Кирпичова на руки и стали качать.

Чувствуя себя на верху блаженства, упоенный славою и торжеством, Кирпичов лишился возможности выражать словами свои ощущения и, подбрасываемый кверху, только с нежностию и грацией дрыгал ногами, выражая тем избыток признательности, переполнявшей его сердце.

В заключение Крутолобов, подвигнувший Кирпичова на его славное мероприятие, вскочил на

стол и произнес хозяину спич, который начинался так:

«Я почитаю себя счастливым, что родился в эпоху, когда на горизонте нашей книжной торговли появился почтеннейший, умнейший, аккуратнейший и деятельнейший Василий Матвеич Кирпичов».

Неизвестно почему один молодой литератор, присутствовавший тут, насмешливо улыбнулся, слушая такие похвалы новому книгопродавцу.

Но и его выходка, которая, конечно, могла набросить тень неудовольствия на торжествующее лицо хозяина, если б он ее заметил, была счастливо предупреждена и даже обратилась в позор насмешнику.

— Милостивый государь!—воскликнул другой литератор, устремив на дерзкого насмешника взор, полный благородного негодования:—В ту минуту, когда воздается почесть заслуге, вы смеетесь... вы...

Но ему не дали говорить, обступив его и пожимая ему руку, в знак сочувствия к его строгому, но справедливому выговору.

Дерзкий насмешник, вероятно, почувствовавший угрызения совести, с позором удалился. Остальные гости пировали до утра...

Вот таким образом Кирпичов, торговавший прежде гужами и хомутами, знакомыми ему в совершенстве, попал в книжную торговлю, в которой не понимал ничего...

Итак, Кирпичов вошел в свой великолепный магазин. Магазин Кирпичова точно можно было бы назвать великолепным, если б местами дорогие, но безвкусные украшения не нарушали гармонии целого.

Очень большая комната, с большими светлыми

окнами, которой стены казались сложенными из книг, местами закрытых огромными ландкартами, заменявшими в ней картины. ⟨...⟩

Кирпичов подошел к своей конторке и повелительным жестом подозвал к себе Харитона Сидорыча, который обыкновенно именовался его «правой рукой». ⟨...⟩

— Новые издания предпринимаю... Полное собрание сочинений князя Хвощовского, в шести томах, с картинками и чертежами.

— Охота вам, Василий Матвеич, пускаться опять в издания,—с неудовольствием заметил приказчик.—Право, что в них проку? только деньгам перевод! Еще иное дело издавать книги полезные, а то вечно кучу денег потратите на печать, на бумагу, на переплет, на объявления, а потом гляди да сохни: гниет издание в кладовой. По правде сказать, не умеете вы выбирать, Василий Матвеич. Вот Окатов издал *«Средство выращать черные усы и густые черные брови»*... оно, конечно, вздор, и купивший ее не только не вырастит черных усов, так и рыжие потеряет, а посмотрите, как книга идет! Всякий думает: верно, вздор, однако ж, попробую! черных усов всякому хочется! А вот опять книга, тоже о волосах: *«Средство сохранить навсегда густые волосы и предохранить лицо от морщин до глубокой старости»*. Шутка! кому помолодеть не хочется?.. Вот она и идет. А видели книгу: *«Нет более паралича»?* А *«Лечение всех болезней физических и нравственных портером и мадерою»?* третье издание печатается!.. А *«Тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу»?* Небось, сочинитель не умрет теперь с голоду, издатель тоже жаловаться не будет... Тут, я вам скажу, Василий Матвеич,

дело основано на знании натуры человеческой; а ваша аллегория, смею сказать, просто вздор; с аллегорией пойдешь по миру.

— А что скажут журналы, когда я такие книги издавать стану?—заметил Кирпичов, зевая.—Помилуйте, душенька!

— Журналы! Да вам не с журналами, а с деньгами жить! Верьте вы мне, Василий Матвеич—продолжал с жаром Правая Рука, обрадованный благоприятной минутой высказать хозяину свой взгляд на дело—с журнальной похвалы сыт не будешь, только суетную гордость свою удовлетворишь... а тут капитал—дело нешуточное! Ну, вот наиздавали вы теперь философических и аллегорических книг. Сочинения толстейшие: в ином тома четыре... сочинители все важные, а что толку? валяются экземпляры в кладовой.

— Да, правда,—заметил задумчиво Кирпичов,—книги их точно скверно идут; как напечатал—сваливай в кладовую, а ключ хоть в Неву кидай: не понадобится. Ни одно издание даже не окупилось. Я уж сам, признаться, думал: отчего? люди прекраснейшие и уж в летах, пожилые на свете, могли набраться ума, а иные так даже известностью пользуются; поди, как лет тридцать назад сочинения их шли! такие люди, что, кажется, и постыдятся вздор написать,—не то что мальчишка какой, который с голоду пишет в шестом этаже... у них и кабинеты отличные; как войдешь, тотчас почувствуешь, что ученый и умный человек живет: библиотека огромная, стол письменный весь завален бумагами, этажерки, кушетки, кресла, ландкарты на стенах, конторки; на лице такие соображения; заговорит—точно книга: садись и записывай. А издания нейдут! просто и ума не приложу отчего!

— Я думаю,—отвечал глубокомысленно главный приказчик после долгого молчания,—я думаю, оттого, что они слишком серьезно и аллегорически сочиняют... Люди важные, с достатком, они, натурально, не станут справляться, что происходит даже и между дворянами, не только у купцов и разночинцев, которые любят почитать,—а что придет в голову, то и пишут. Вот и выходит аллегория; а какой прок в аллегории? Уж помяните вы мои слова, Василий Матвеич, не доведут вас до добра издания философические и аллегорические... Я думаю, что они даже и не литература, а просто пустословие! Умный человек не понесет аллегории; а иногородний и плюнуть на нее не захочет. Ему давай житейского, практического!.. Вот, помните, летом приходил к вам какой-то сочинитель, кажется, Лачугин... да, точно, Лачугин! Вот вы его прогнали, а Окатов за три золотых купил у него роман да теперь уж третье издание печатает.

— Знаю, знаю, душенька! о нем теперь везде говорят... Да ведь он сам виноват. Приходит бледный, мизерный такой, жмется, запинается, точно сейчас уличили его, что он платок из кармана украл... «Где вы служите?»—спрашиваю я.—«Нигде»,—говорит.—«Какой ваш чин?»—«Никакого»,—говорит.—«Что же, у вас родители богатые люди?»—«Нет,—говорит,—бедные».—«А какого звания?»—«Мой отец,—говорит,—мещанин...»—Ну, каков литератор? Прилично ли мне издавать мещанские сочинения?.. «Подите,—говорю,—на то есть Щукин двор: там у вас купят, а я не могу...»—«Какая же причина,—говорит,—вашего отказа?..»—Я рассмеялся. «Ну, какая причина? Ты, любезнейший, посмотри на себя,—говорю,—так и увидишь, какая причина... Мне,—

говорю,—благородные люди приносят свои сочинения, да и у тех, душенька, беру не у всякого...» Вот он и ушел да с тех пор и не бывал... да-а-а... Уж не понимаю, почему ему посчастливилось!—заключил, зевая, Кирпичов, по мнению которого, чтоб сочинение было хорошо, автору его следовало иметь крупный чин. ⟨...⟩

1848—1849 гг.

ПРЕКРАСНАЯ ПАРТИЯ

ОТРЫВОК

⟨...⟩ Девичий сон еще был тих
И крепок благотворно.
А между тем давно жених
К ней сватался упорно...

То был гвардейский офицер,
Воитель черноокий.
Блистал он светскостью манер
И лоб имел высокий;

Был очень тонкого ума,
Воспитан превосходно,
Читал Фудраса и Дюма
И мыслил благородно;

Хоть книги редко покупал,
Но чтил литературу
И даже анекдоты знал
Про царскую цензуру.

В Шекспире признавал талант
За личность Дездемоны
И строго осуждал Жорж Санд,
Что носит панталоны. ⟨...⟩

1852 г.

ПРОПАЛА КНИГА!

1

Пропала книга! Уж была
Совсем готова—вдруг пропала!
Бог с ней, когда идее зла
Она потворствовать желала!
Читать маранье праздных дур
И дураков мы недосужны.
Не нужно нам плохих брошюр,
Нам нужен хлеб, нам деньги нужны!

Но, может быть, она была
Честна... а так резка, смела?
Две, три страницы роковые...
О, если так, ее мне жаль!
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

2

Уж напечатана—и нет!..
Не познакомимся мы с нею;
Девица в девятнадцать лет
Не замечтается над нею;
О ней не будут рассуждать
Ни дилетант, ни критик мрачный,
Студент не будет посыпать
Ее листов золой табачной.

Пропала! с ней и труд пропал,
Затрачен даром капитал,
Пропали хлопоты большие...
Мне очень жаль, мне очень жаль,
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

3

Прощай! горька судьба твоя,
Бедняжка! Как зима настанет,
За чайным столиком семья
Гурьбой читать тебя не станет.
Не занесешь ты новых дум
В глухие, темные селенья,
Где изнывает русский ум
Вдали от центров просвещенья!

О, если ты честна была,
Что за беда, что ты смела?
Так редки книги не пустые...
Мне очень жаль, мне очень жаль,
И, может быть, мою печаль
Со мной разделит вся Россия!

1868 г.

СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА

ИЗ ПОЭМЫ «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО»

⟨...⟩ Была тут также лавочка
С картинами и книгами,
Офени запасалися
Своим товаром в ней.
— А генералов надобно?—
Спросил их купчик-выжига.
«И генералов дай*
Да ты только по совести,
Чтоб были настоящие—
Потолще, погрозней».

* «Генералами» офени называли лубочные картинки с изображениями военачальников.

— Чудные! как вы смотрите!—
Сказал купец с усмешкою,—
Тут дело не в комплекции...
«А в чем же? шутишь, друг!
Дрянь, что ли, сбыть желательно?
А мы куда с ней денемся?
Шалишь! Перед крестьянином
Все генералы равные,
Как шишки на ели:
Чтобы продать невзрачного,
Попасть на доку надобно,
А толстого да грозного
Я всякому всучу...
Давай больших, осанистых,
Грудь с гору, глаз навыкате,
Да чтобы больше звезд!»

— А статских не желаете?
— «Ну, вот еще со статскими!»
(Однако взяли—дешево!—
Какого-то сановника
За брюхо с бочку винную
И за семнадцать звезд).
Купец—со всем почтением,
Что любо, тем и потчует,
(С Лубянки—первый вор!)
Спустил по сотне Блюхера,
Архимандрита Фотия,
Разбойника Сипко,
Сбыл книги: «Шут Балакирев»,
И «Английский милорд»...
Легли в коробку книжечки,
Пошли гулять портретики
По царству всероссийскому,
Покамест не пристроятся
В крестьянской летней горенке,

На невысокой стеночке...
Черт знает для чего!

Эх! эх! придет ли времечко,
Когда (приди, желанное!..)
Дадут понять крестьянину,
Что розь портрет портретику,
Что книга книге розь?
Когда мужик не Блюхера
И не милорда глупого—
Белинского и Гоголя
С базара понесет?
Ой, люди, люди русские!
Крестьяне православные!
Слыхали ли когда-нибудь
Вы эти имена? 〈...〉

В. И. КУРОЧКИН

ПРИРОДА, ВИНО И ЛЮБОВЬ

ИЗ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Трагедия в трех действиях, без соблюдения трех единств, так как происходит в разное время, в разных комнатах и под влиянием различных страстей и побуждений.

ЛИЦА:

П о э т, Р е д а к т о р, Ц е н з о р

Действие I. Природа

Комната поэта

П о э т
(пишет и читает)

Пришла весна. Увы! Любовь

Не манит в тихие дубравы.
Нет! негодующая кровь
Зовет меня на бой кровавый!

Кабинет Редактора

Редактор
(поправляет написанное Поэтом и читает)

Пришла весна. Опять любовь
Раскрыла тысячу объятий,
И я бы, кажется, готов
Расцеловать всех меньших братий.
Кабинет Цензора

Цензор
(поправляет написанное Поэтом и поправленное Редактором и читает)

Пришла весна. Но не любовь
Меня влечет под сень дубравы,
Не плоть, а дух! Я вижу вновь
Творца во всем величьи славы.

(Подписывает: «Одобрено цензурою»)

Действие II. Вино

Поэт

Люблю вино. В нем не топлю,
Подобно слабеньким натурам,
Скорбь гражданина—а коплю
Вражду к проклятым самодурам!

Редактор
(поправляет)

Люблю вино. Я в нем топлю
Свои гражданские стремленья,
И видит бог, как я терплю
И как тяжел мой крест терпенья!

Ц е н з о р
(поправляет)

Люблю вино. Но как люблю?
Как сладкий мед, как скромный танец,
Пью рюмку в день— и не терплю
Косматых нигилистов-пьяниц.

(Подписывает)
Действие III. Любовь

П о э т

Люблю тебя. Любовь одна
Дает мне бодрость, дух и силу,
Чтоб, чашу зла испив до дна,
Непобежденным лечь в могилу.

Р е д а к т о р
(поправляет)

Люблю тебя. Любовь к тебе
Ведет так сладко до могилы
В неравной роковой борьбе
Мои погубленные силы.

Ц е н з о р
(поправляет)

Люблю тебя. И не скорбя,
Подобно господам писакам,
Обязан век любить тебя,
Соединясь законным браком.

(Подписывает)

Занавес падает. В печати появляется стихотворение: «Природа, вино и любовь», под которым красуется подпись Поэта. В журналах выходят рецензии, в которых говорится о вдохновении, непосредственном творчестве, смелости мысли, оригинальности оборотов речи и выра-

жений, художественной целости и гражданских стремлениях автора.

1863 г.

* * *

Молодая жена!
Ты «Что делать?» взяла.
Эта книга полна
Всякой грязи и зла.
Брось зловредный роман.
В нем разврат и порок—
А поедем канкан
Танцевать в «Хуторок»!

1863 г.

* * *

Нет, положительно роман
    «Что делать?» нехорош!
Не знает автор ни цыган,
Ни дев, танцующих канкан,
    Алис и Ригольбош.
Нет, положительно роман
    «Что делать?» нехорош!

Великосветскости в нем нет
    Малейшего следа.
Герой не щеголем одет
И под жилеткою корсет
    Не носит никогда.
Великосветскости в нем нет
    Малейшего следа.

Жена героя — что за стыд!
  Живет своим трудом;
Не наряжается в кредит
И с белошвейкой говорит—
  Как с равным ей лицом.
Жена героя—что за стыд!
  Живет своим трудом.

Нет, я не дам жене своей
  Читать роман такой!
Не надо новых нам людей
И идеальных этих швей
  В их новой мастерской!
Нет, я не дам жене своей
  Читать роман такой!

Нет, положительно роман
  «Что делать?» нехорош!
В пирушках романист—профан,
И чудеса белил, румян
  Не ставит он ни в грош.
Нет, положительно роман
  «Что делать?» нехорош!

1863 г.

Д. Д. МИНАЕВ

ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ ФАМУСОВЫМ

Люди взгляда высшего,
Книг вы захотите ли!
Пусть для класса низшего
Пишут сочинители.
Для чего вам более
Все людское звание?

Не того сословия —
Чтоб читать издания!

Нынче—травля славная,
Завтра—скачка тройками;
То обед, где—главное—
Угостят настойками.
То к родне отправишься,
С дворнею—мучение...
Ясно, что умаешься,—
Тут уж не до чтения.

Пусть зубрят приказные
Те статьи ученые,
Где идеи разные
Очень развращенные.
Мы ж, допив шампанское,
Спросим с удивлением:
Дело ли дворянское
Заниматься чтением?

1861 г.

ЖАЛОБА УЕЗДНОЙ КРАСАВИЦЫ

ЭЛЕГИЯ

Что это, тетенька,—просто мучение
Новые книги читать!
Нет никакого почти развлечения:
Так и захочется спать.

Повесть раскроешь—герои все штатские;
Нет интересных двух лиц,
Все разговоры такие дурацкие—
Скука одна для девиц.

А уже критики — вот наказание!
   Словно туман в голове;
Нет и примет благородного звания,
   Тон—настоящий *мове*...

Очень ведь нужно порядочной женщине
   Знать, как живут мужики.
Слышите: чувство нашли в деревенщине,
   Сердце нашли... Пустяки!

Бьют их! Так что же? за дело и следует,
   Так говорит .сам *папа*.
Что ж сочинитель-то тут проповедует—
   Я и сама не глупа.

Нет, погадаю уж лучше о суженом...
   Просто заснешь у носка!..
Хоть бы лесничий пришел перед ужином!
   Господи! что за тоска!..

1862 г.

ЧЕРЁЗ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ

БАЛЛАДА

⟨...⟩ На Неву из Усолья далекого
Прикатил коммерсант-сибиряк;
От казны был тяжел кошелек его,
Сам он был далеко не из скряг.
Новичком он явился в Петрополе,
И при виде различных чудес
Не однажды глаза его хлопали:
Восхищал его невский прогресс.
Все его возбуждало внимание,
Так что с раннего часто утра,
Свой восторг предвкушая заранее,

Он чуть свет покидал номера.
И по городу рыскал богатому,
Где смущал его грохот и гул...
Раз—знаком уже был Петроград ему—
В лавку книжную он завернул.
«Подписаться хочу на газету я,
А притом и на толстый журнал.
Укажите, по правде советуя,
Чтобы сам я впросак не попал,
Чьи изданья в ходу теперь более?»
— «Господина Суворина. Он,
Знать, такая далась монополия,
Всю печать нынче забрал в полон.
Да-с, один завладел прессой целою,
И других созидателей нет.
Все журналы—я список вам сделаю—
«Огонек», «Голос», «Слово» и «Свет»,
«Время новое», «Речь», «Иллюстрация»,
«Нива», «Вестник Европы» и «Сын»
(Чтоб в руках была целая нация)
Издавать стал Суворин один,
Чем ужасно была раззадорена
Отставных журналистов толпа...»
— «А вот эта чья лавка?»—«Суворина.
В книжном деле нет выше столпа:
Он убил магазины все книжные,
И бороться нельзя с ним никак.
Верьте в слово мое необлыжное...»
Лишь руками развел сибиряк,
Речь приказчика важного слушая,
И, покинувши лавку, шептал:
«Видно, бил лишь в Сибири баклуши я,
Если дива такого не знал...» 〈...〉

1878—1879 гг.

Я. П. ПОЛОНСКИЙ

БИБЛИОГРАФЫ

Я за прозу берусь, я за вирши берусь,
И забвенья реки не боюсь, не боюсь—
От журнального лая спасая поэта,
Ненадолго меня спрячет темная Лета.

Ходит мусорщик вдоль этой мутной реки—
И нет глаза быстрей, нет ловчее руки...
Все, что в только в волнах этой Леты мелькает,
Что ни вынырнет, все то он жадно хватает.
И не только рублевых, грошовых писак
От него эта Лета не спрячет никак.

Чуть завидит кого,—живо на берег тащит,
И ликует душа его, аще обрящет.
От ветошной души пусть ветошка одна
Попадется—и та будет им спасена.
И пускай целый свет смысла в ней не увидит,
Он хоть метку найдет—и ее не обидит,
И ее поместит в поминанье свое,
Как великое имя, неведомо чье!
И попробуй хоть дичь поместить я в газету,
Чтоб найти эту дичь, он обшарит всю Лету
(Иль Апраксин двор).
    Кто же мусорщик сей?
П—копун иль *Еф*—злодей?!*
Для обоих готов сочинять я куплеты,
Оба рады поэта исхитить из Леты,
Оба рады друг друга в ту Лету столкнуть.
От обоих (попробуй их ревность раздуть!)

* Подразумеваются С. Д. Полторацкий и П. А. Ефремов — крупнейшие русские библиографы, с которыми поэт поддерживал тесные дружеские отношения.

Сам Сатурн, что детей пожирает, заплачет,—
И его вспотрошить ничего им не значит.

1870 г.

Г. И. УСПЕНСКИЙ

КНИГА

После смерти вдового шапочника Юраса остался сын, болезненный мальчик лет двенадцати, не узнавший вследствие постоянной хворьбы даже ремесла своего отца. Родственники тотчас же запустили свои руки под подушку покойника, пошарили в сундуках, под войлоком и, найдя «нечто», припасенное Юрасом для неработящего сына, тотчас же получили к этому сыну особенную жалость и ни за что не хотели оставить его «без призору». Кабаньи зубы и пудовые кулаки мещанина Котельникова отвоевали сироту у прочих родственников. Сироту поместили на полатях на кухне, водили в церковь в нанковых, больничного покроя халатах и, попивая чаек на деньги покойного Юраса, толковали о заботах и убытках своих, понесенных через этого сироту. Пролежал на полатях сын Юраса года четыре, и вышел из него длинный, сухой шестнадцатилетний парень, задумчивый, тихий, с бледно-голубыми глазами и почти белыми волосами. В течение этих годов лежанья от нечего делать прозубрил он пятикопеечную азбуку со складами, молитвами, изречениями, баснями, и незаметно *книга* в глазах его приняла вид и смысл, совершенно отличный от того вида и смысла, какой привыкли придавать ей растеряевцы. Страсть к чтению сделала то, что сирота решился просить у опекуна купить ему какую-нибудь книгу. Опекун сжа-

лился: книга была куплена, и сирота замер над ней, не имея сил оторваться от обворожительных страниц. Книга была: «Путешествие капитана Кука, учиненное английскими кораблями „Резолюцией“ и „Адвентюром“». Алифан (сирота) забыл сон, еду, перечитывая книгу сотни раз: капитан Кук все больше и больше пленял его и, наконец, сделался постоянным обладателем головы и сердца Алифана. По ночам он в бреду выкрикивал какие-то морские термины, летал с полатей во время кораблекрушения и пугал всю семью опекуна не на живот, а на смерть. Котельников, конечно, понял это сумасшествие по-своему.

— Ну, Алифан,—сказал он однажды сироте,— гляди сюда: оставлен ты сиротою, я тебя призрел, можно сказать, из последнего натужился... Шесть годов, господи благослови, мало-мало по сту-то серебром ты мне стоил... Так ли?

— Я, кажется, до веку моего буду ножки, ручки...

— Погоди... Второе дело, старался я, себя не жалел, сделать тебе всяческое снисхождение и удовольствие... Через это я тебе, например, книгу купил...

— Ах!—вскрикнул Алифан в восторге.

— Погоди... Вот то-то... Ты, может, читавши ее, от радости чумел, а спроси-кась у меня, легко ли она мне досталась, книга-то? Следственно, исхарчился я на тебя до последнего моего издыхания... Но так как имею я от бога доброе сердце, то главнее стараюсь через мои жертвы только бы в царство небесное попасть и о прочем не хлопочу... С тебя же за мои благодеяния не требую я ничего... По силе, по мочи, оздашь ты мне малыми препорциями. Ибо придумал я тебе

по твоей хворости особенную должность, дабы имел ты род жизни на пропитание.

Последнюю фразу Котельников похитил из уст какой-то вдовы, слонявшейся по нашей улице и просившей милостыню именно этими словами, похищенными в свою очередь из какого-то прошения. Скоро Алифан вступил в новоизобретенную Котельниковым должность. На тонком ремне был перекинут через его плечо небольшой ящик, в котором находились иголки, нитки, обрезки тесемок, головные шпильки, булавки и прочие мелочи, необходимые для женского пола. Обязанности Алифана заключались в постоянном скитании по улице, из дома в дом, и целый день такой ходьбы давал ему барыш по большей мере пятиалтынный. Этот пятиалтынный приносил он все-таки к Котельникову, будто б на сохранение... «У меня целей»,—говорил Котельников.

И Алифан вполне этому верил.

Но книга и капитан Кук не оставляли Алифана и здесь. Замечтавшись о каком-нибудь подвиге своего любимца, он не замечал, как вместо полутора аршин тесемок отмеривал три или пять, или в задумчивости шел бог знает куда, позабыв о своей профессии, и возвращался потом без копейки домой. Если Алифану приходилось зайти в чью-нибудь кухню и вступить в беседу с кучерами и кухарками, то и тут он незаметно сводил разговор на Кука и, заикаясь и бледнея, принимался прославлять подвиги знаменитого капитана. Но кучера и кухарки, наскучив терпеливым выслушиванием непостижимых морских терминов и рассказов про иностранные народы и чудеса, о которых не упоминается даже в сказке о жар-птице, скоро подняли несчастного Али-

фана на смех. Скоро вся улица прозвала его «Куком», и ребята при каждом появлении его заливались несказанным хохотом; им вторили кучера, натравливая на бедного доморощенного Кука собак. Даже бабы, ровно ни буквы не понимавшие в рассказах Алифана, и те при появлении его кричали:

— Ах ты, батюшки мои... угораздило же его! Кук!.. Этакое ли выпер из башки своей полоумной...

— В тину, вишь, заехал... На карапь сел, да в тину... Ха-ха!—помирали кучера.

— Кук! Кук! Кук!—визжали мальчишки.

Алифан схватывал с земли кирпич и запускал в мальчишек; смех и гам усиливался, и беззащитный Алифан пускался бежать...

— Ку-ук! Ку-ук!—голосила улица. Общему оранью вторили испуганные собаки.

Торговля Алифана мельчала все более и более. Обыватели чиновные, и в особенности обывательницы, с улыбкою встречали его и, купив на пятачок шпилек или еще какой-нибудь мелюзги, считали обязанностью позабавиться странной любовью Алифана.

— Ну как же Кук-то этот?—спрашивали они.— Как ты это говоришь, расскажи-ка.

— Да так и есть...

— Как же это? Плавал?

— И плавал-с; вот и все тут...

Алифан, желая избежать насмешек, иногда думал было отделаться такими отрывочными ответами; но влюбленное сердце его обыкновенно не выдерживало: еще немного, и Алифан воодушевлялся—чудеса чужой стороны подкрашивались его пылким воображением, и картины незнакомой природы выходили слишком ярко

и чудно. Алифан забывал все; он сам плыл на «Адвентюре» по морю, среди фантастических туманов и островов удивительной прелести; воображение его разгоралось, разгоралось... и вдруг неудержимый, неистовый хохот, как обухом, ошарашивал его.

— Батюшки, умру! Умру! Умру! Спасите!..— вопил обыватель.

И Алифан исчезал.

Иногда выслушают его, посмеются в одинаковой мере и над Куком, и над рассказчиком, продержат от скуки часа три и скажут:

— Ступай, не надо ничего.

Плохо приходилось ему. Синий нанковый халат, сшитый опекуном еще в первые годы опекания, до сих пор не сходил с его плеч, потому что другого не было. Если иногда Алифан принимался раздумывать о своих несчастьях, то по тщательном размышлении находил, что во всем виноват один капитан Кук. Но было уже поздно.

Таким образом, известнейший мореплаватель Кук, погибший на Сандвичевых островах, вторично погиб в трясинах растеряевского невежества, погиб, раскритикованный в пух и прах нашими кучерами, бабами, мальчишками и даже собаками. А вместе с Куком погиб и добродушный Алифан.

Горестная жизнь его была принята обывателями, во-первых, к сведению, ибо говорилось:

— Вот Алифан читал-читал книжки да теперь-то эво как шатается: словно лунатик!

И, во-вторых, к руководству, ибо говорилось:

— Что у тебя руки чешутся: все за книгу да за книгу? Она ведь тебя не трогает?.. Дохватаешься до беды... Вон Алифан читал-читал, а глядишь—и околеет, как собака.

1866 г.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК

СТРАНИЦЫ ИЗ ОДНИХ ЗАПИСОК

⟨...⟩ Я позволю себе два слова о том, чем именно я был до сих пор.

Лет шесть-семь тому назад один из моих деревенских соседей, человек, не отличавшийся никакими умственными богатствами, совершенно случайно так метко определил мою особу и мою профессию, что кличка, данная им мне, признана за мною всеми единогласно, и я ношу ее в моей семье и в кругу соседей даже до настоящего времени. Подъехав как-то вечером к воротам моего хутора, он попридержал лошадь и, просто от нечего делать, спросил дворника: «Что, дома ваш... *читатель-то?»* Случайно мне пришлось видеть из окна физиономию дворника: не более одной минуты на лице его было как бы некоторое недоумение, происходившее, очевидно, от незнакомого слова «читатель»; но это краткое недоумение почти мгновенно заменилось светлой улыбкой, какая бывает, например, когда у трудной загадки оказывается самая простая разгадка. «Читатель-то?—весело переспросил он,—дома, дома, да вон они»,—и он указал на меня. Я видел, что это слово пришлось ему по вкусу,—отворяя гостю ворота, он продолжал улыбаться... «Читатель!—казалось, думал он:—вот что...» И он понял, что именно этого слова недоставало ему для того, чтобы разрешить себе все недоумения относительно моей особы. Ему стало ясно, отчего я не хожу по утрам в конюшню, не веду разговоров с лошадьми (их, впрочем, немного), не торгуюсь, не меняюсь, как делал бы всякий барин моих лет, не принадлежащий к особенно знатной семье. Ему стало ясно, почему это если и

забредет этот барин в конюшню, то, вместо разговора о деле, продолжает смотреть в книгу, которую потом долго ищут по всему дому, пока сам дворник Петр не предъявит ее, объявив, что вот мол нашел что... Теперь он знал, что все это оттого, что он не барин, а *читатель*... Подобно дворнику, с появлением этого меткого слова, поняли меня и жена, смотревшая на меня с каким-то недоумением чуть не с первого дня брака и, кажется, втайне считавшая меня за сумасшедшего, и теща, при всем ее уме, до сих пор затруднявшаяся сказать обо мне что-нибудь определенное и невольно разделявшая, кажется, взгляды моей жены... «Читатель!» Это слово объяснило им все: вот отчего я помещик, но не занимаюсь хозяйством, вот отчего я отец семейства, но как будто не забочусь о детях, муж, не выказывающий никаких, ни хороших, ни дурных, качеств мужа,—теперь все это стало понятно: скоро и соседи, когда до них дошло это слово, поняли, отчего им не о чем со мной говорить, отчего я не езжу в гости, отчего, когда эти гости приедут ко мне, вдруг, среди беседы, скроюсь и оказываюсь спящим так, что не могут добудиться... За соседями из благородных поняли соседи-крестьяне, и в очень короткое время кличка «читатель» осталась за мной навсегда. «Я у *читателева барина* пять с полтиной получал, что вы?»—торговался мужик, нанимаясь к соседу. «Ишь, *читателевы* теляты-то как отощали!»—говорит другой. Пошли «читателевы хомуты», «читателевы родители» и т. д.

Особенно старательно занималась укреплением этой клички за мною матушка моей жены, женщина удивительно даровитая. Природный юмор ее вдруг проснулся от одного прикосновения

меткого слова, и нельзя не сознаться, что она сумела разработать этот эпитет в самую смешную, нелепую сторону. Вот пришел дворник Петр и объявляет, что сегодня ночью пропали хомуты. «Давеча с забором, теперь с хомутами! То забор завалился, то хомуты пропали!..»

— Пропали!—будто бы с негодованием отвечает на это заявление моя теща.—Неужели вы не можете понять, что барину вашему с одними заграничными делами только-только впору справиться, а не то, чтобы еще и этакой, прости, господи, дрянью заниматься... Хомуты! Ты бы поглядел, как он, бедный, сегодня с приятелем всю-то, всю-то ночь убивались, успокоиться не могли до шестого часу: все хотели сделать во вред французскому начальству... Иная какая-нибудь дура-жена прямо бы вышла да огрела бы по шее и гостя-то и барина-то, чтобы они не орали по ночам да не пугали детей, а мы, батюшка мой,—как можно! Я вон как пьяная хожу, глаз сомкнуть не дали всю ночь, покуда у самих языки-то, должно быть, не окостенели. А ты лезешь с хомутами».—«Аль вы проснулись?..—необыкновенно ласково и весело восклицает она, адресуясь иной раз непосредственно ко мне.—А тут гости приезжали и, представьте, какие невежи, обиделись! Ехали за пятнадцать верст, всей семьей, думали, как у других у соседей, чаю напиться, поговорить,—а вы спите на самом на парадном диване... Я подвела Ивана Ларивоныча: «Вот, говорю, до чего утомлен заграничными беспокойствами, что среди бела дня свалился...» Говорю: «такие беспокойства имеет, такие беспокойства, что вот уж, кажется, и спит, а и то весь в ведомостях, весь в газетах,—уж извините», говорю... Плюнул даже, невежа...

А вы из этих, из газет-то, только личико свое прекрасное показываете, ровно как иной раз свиньи, знаете, зарываются в грязи...» Иногда она как бы выходила из терпения, и тогда юмористическая речь ее принимала оттенок некоторой серьезности. «А что, Иван Андреич, как вы думаете, что ежели, храни бог от греха, да как-нибудь ночью, нечаянно, вспыхнут эти ваши ведомости и депеши, что тогда—можем мы сгореть, или так пройдет?» Но неудовлетворительность ответов с моей стороны делала этот тон совершенно бесполезным, и ей оставалось одно—по-прежнему только подтрунивать надо мной... «Что это какой я сон странный видела сегодня,—сидя за утренним чаем, начинает Марья Ивановна, искоса бросив взгляд в мою сторону.— Вижу, будто бы в детской потолок этаким манером провалился и всех ребят и нас—всех задавил... Что бы это значило? Уж не к плотнику ли? Да нет! Ежели бы за плотником посылать, так уж давно бы пора было. А то не посылаем... Нет! Стало быть, надо понимать на другой манер... Уж все ли за границей благополучно? Помилуй бог! Иван Андреич! Нет ли чего об этом в газетах? Успокойте, пожалуйста...»

Вообще кличка «читатель» имела в себе, несмотря на очевидную насмешку, некоторую долю правды. Иностранные беспокойства действительно приобретались мною почти помощью беспрерывного чтения и рассуждения над вопросами, ничуть не похожими на рассуждение о пропавших хомутах, о провалившихся потолках, о неудовлетворительности исполнения помещичьих, супружеских, родительских и тому подобных обязанностей. Мысль моя, под влиянием непрерывного и разнообразного чтения, постоянно

держалась на такой высоте, что оттуда все эти обязанности, хомуты, потолки и прочие будничные заботы и явления представлялись мне как бы в тумане, или как вещи, которые теперь неизбежны, но которых не должно быть... Ждать этого, по-видимому, я мог довольно терпеливо. На этой высоте, в этом далеке я не ощущал даже собственного веса, не замечал самого себя.

...Правда, во имя исповедуемых мной идей я постоянно желал предпринять нечто очень большое, но всякий раз находилось множество весьма основательных доводов, вследствие которых я не предпринимал ровно ничего. Единственное воспоминание, имевшее для меня какое-то оправдательное значение,—шесть месяцев занятий в сельской школе,—представлялось мне такою ничтожною попыткою делать дело, что я охотно объяснял ее теперь простым желанием не делать ровно ничего. ⟨...⟩

1874 г.

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ЧИТАТЕЛЬ

НЕСКОЛЬКО НЕЛИШНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Для всякого убежденного и желающего убеждать писателя (а именно только такого я имею в виду) вопрос о том, есть ли у него читатель, где он и как к нему относиться, есть вопрос далеко не праздный.

Читатель представляет собой тот устой, на котором всецело зиждется деятельность писателя; он—единственный объект, ради которого горит

писательская мысль. Убежденность писателя питается исключительной уверенностью в восприимчивость читателей, и там, где этого условия не существует, литературная деятельность представляет собой не что иное, как беспредельное поле, поросшее волчецом, на обнаженном пространстве которого бесцельно раздается голос, вопиющий в пустыне.

Доказывать эту истину нет ни малейшей надобности; она стоит столь же твердо, как и та, которая гласит, что для человеческого питания потребен хлеб, а не камень. Даже несомненнейшие литературные шуты— и те чувствуют себя неловко, утрачивают бойкость пера, ежели видят, что читатель не помирает со смеху в виду их кривляний. Даже тут, в этой клоаке человеческой мысли, чувствуется потребность поддержки со стороны читателя. И не только ради построчной мзды, но и ради того чувственного возбуждения, при отсутствии которого самое скоморошество делается вялым, бесцветным и назойливым. Ежели в стране уже образовалась восприимчивая читательская среда, способная не только прислушиваться к трепетаниям человеческой мысли, но и свободно выражать свою восприимчивость,—писатель чувствует себя бодрым и сильным. Но он глубоко несчастлив там, где масса читателей представляет собой бродячее человеческое стадо, мятущееся под игом давлений внешнего свойства. Даже при уверенности, что в этой массе немало найдется сердец, несущихся навстречу писателю, это только усугубляет скорбь последнего. Он вдвое несчастлив: и за себя и за те преданные сердца, которым горение их ничего не может дать, кроме сознания темного и безвыходного порабощения.

Поэт, в справедливом сознании светозарности совершаемого им подвига мысли, имел полное право воскликнуть, что он глаголом жжет сердца людей; но при данных условиях слова эти были только отвлеченной истиной, близкой к самообольщению. Когда окрест царит глубокая ночь; та ночь, которую никакой свет не в силах объять, тогда не может быть места для торжества живого слова. Сердца горят, но огонь их не проницает сквозь густоту мрака; сердца бьются, но биение их не слышно сквозь толщу желез. До тех пор, пока не установилось прямого общения между читателем и писателем, последний не может считать себя исполнившим свое призвание. Могучий—он бессилен; властитель дум—он раб бездумных бормотаний случайных добровольцев, успевших захватить в свои руки ярмо.

Звуча наудачу, речь писателя превращается в назойливое сотрясание воздуха. Слово утрачивает ясность, внутреннее содержание мысли ограничивается и суживается. Только один вопрос стоит вполне определенно: к чему растрачивается пламя души? Кого оно греет? На кого проливает свой свет?

Повторяю: несчастие в этом случае так глубоко, что никогда не остается бесследным. Я не говорю о себе лично, но думается, что всякий убежденный русский писатель испытал на себе влияние подобной изолированности. Всякий на каждом шагу встречался с ненавистью, и с бесчестными передержками, и с равнодушием, и с насмешкой; редко кому улыбнулось прямое, осязательное сочувствие. Последнее так далеко затерялось в читательской массе, что лишь предположительно может ободрить писателя. Зато

минуты подобного ободрения—самые дорогие в жизни.

Я не претендую здесь подробно и вполне определительно разобраться в читательской среде, но постараюсь характеризовать хотя некоторые ее категории. Мне кажется, что это будет небесполезно для самого читающего люда. До тех пор, пока не выяснится читатель, литература не приобретет решающего влияния на жизнь. А последнее условие именно и составляет главную задачу ее существования.

1. ЧИТАТЕЛЬ-НЕНАВИСТНИК

Начну с читателя-ненавистника.

Ненавидеть дозволяется. Убежденному писателю необходимо знать о существовании этой привилегии, потому что он встречается с нею с первого же шага на своем трудовом пути. Дозволяется ненавидеть не только убеждения писателя и произведения, в которых он выражает их, но и самую личность его. Распускать о нем невероятные слухи; утверждать, что он не только писатель, но и «деятель», — разумеется, в известном смысле; предумышленно преувеличивать его влияние на массы читателей; намекать на его участие во всех смутах; ходатайствовать «в особенное одолжение» об его обуздании и даже о принятии против него мер — вот задача, которую неутомимо преследует читатель-ненавистник.

Это читатель самый ревностный и неизменный. Он не просто читает, но и вникает; не только вникает, но и истолковывает каждое слово, пестрит поля страниц вопросительными знаками и заметками, в которых заранее произносит над писателем суд, сообщает о вынесенных от чтения впечатлениях друзьям, жене, детям,

брызжет по поводу их слюною в департаментах и канцеляриях, наполняет воплями кабинеты и салоны, убеждает, грозит, доказывает существование вулкана, витийствует на тему о потрясении основ и т. д. Словом сказать, всякий новый труд писателя приводит читателя-ненавистника в суматошливое неистовство.

Разновидность эта в особенности размножилась в позднейшее время. И прежде в ней не было недостатка, но она была не вполне уверена в своих собственных впечатлениях и, сверх того, встречала отпор. В самом деле, трудно, почти немыслимо, среди общего мира, утверждать, что общественные основы потрясены, когда они, для всех видимо, стоят неизменно в тех самых формах и с тем содержанием, какие завещаны историческим преданием. Для того, чтобы приблизиться к этому грубому идеалу клеветы, необходимо отождествить его с вопросом об уместности или неуместности общественного развития, а это даже для самых заклятых ненавистников не всегда удобно. Всякий столоначальник против подобной претензии возопиет.

— Помилуйте! — скажет он, — столько лет я изо дня в день хожу в департамент, и никаких потрясений не вижу. ⟨...⟩

2. СОЛИДНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Читатель этой категории следует непосредственно за читателем-ненавистником. Они связаны узами общежития, хлебосольства и называют друг друга кумовьями. В нравственном смысле он безразличен — и потому не может идти в сравнение с читателем-ненавистником; но в практическом отношении он почти столь же вреден, как и последний. Это оплот, на который по

преимуществу опирается ненавистничество; это всегда готовое и послушное воинство, в котором последнее почерпает свою силу, и при том воинство, прислушивающее к малейшим общественным шорохам и способное выделить из себя перебежчика.

К чтению солидный читатель не особенно пристрастен и читает не столько вследствие внутренней потребности, сколько вследствие утвердившейся привычки. Притом нельзя же и не знать, что на свете делается: без этого никакое деятельное участие в общественной жизни немыслимо. Поедешь в гости, а там вдруг вопрос: «Слышали, что такой-то налог провалился?», или: «Слышали, какую штуку немцы с Шнебеллэ удрали?.. умора!» Ради одного того, чтобы не разевать рта при подобных вопросах, надо хоть наскоро пробежать насущные новости. Так он и поступает: с пятого на десятое проглядывает за утренним чаем свою газету, останавливаясь преимущественно на телеграммах и распоряжениях. В каких-нибудь десять минут приобретает необходимые, чтобы не ударить лицом в грязь, познания — и прав на целый день. Не только выслушивать вопросы о Шнебеллэ в состоянии, но и сам предлагать таковые способен.

И даже считает разговоры о новостях дня небесполезными; улучит свободную минутку и покалякает. И время в гостях скорее пройдет, покуда хозяин не скомандует карты подать, да и поучение какое-нибудь из взаимного обмена новостей можно извлечь, не обременяя себя головоломными философствованиями. Потому что и без философствования ясно, что Шнебеллэ сплошал, а немцы — молодцы! И еще яснее — вот так штука! налог-то не прошел!

Тем не менее в эпохи, когда в обществе чувствуется оживление, солидный читатель ощущает потребность вникать. Не ограничивается одними мелкими известиями, но прочитывает передовые статьи и корреспонденции,— в особенности последние. Но так как оживление бывает в том или в другом смысле, то и он вникает всяко: и в том, и в другом смысле. Тем не менее, приступая к процессу вникания без подготовки, он некоторое время бывает слегка ошеломлен.

Все ему кажется новым: и необычность приемов, и содержание читаемого. В льготное время провинциальные корреспонденции приводят его почти в восторженное состояние. Прочитавши в газете письмо из города На-трех-китах-стоящего, что тамошний исправник небрежет исполнением возложенных на него законом обязанностей, он восклицает:

— Вот так ошпарили! До новых веников не забудет! Ай да молодцы!

И непременно расскажет о прочитанном вечером, между двумя карточными сдачами, в доказательство, что и он не чужд гласности.

Но когда в воздухе насчет гласности чувствуется похолодание, он, прочитавший подобное же обличение, случайно прорвавшееся в газету, уже относится к нему довольно угрюмо:

«Ну, брат, распелся!— обращается он мысленно к неосторожному корреспонденту. — Коли так будешь продолжать, то тут тебе и капут!»

И на другой или на третий день, убедившись, что слова его были вещими («капут» совершился), не преминет похвалиться перед прочими солидными читателями:

— Представьте себе! Я ведь точно чуял. Еще

вчера читаю газету и говорю: ну, этому молодцу несдобровать. Так и случилось.

Повторяю: солидный читатель относится к читаемому, не руководясь собственным почином, а соображаясь с настроением минуты. Но не могу не сказать, что хотя превращения происходят в нем почти без участия воли, но в льготные минуты он все-таки чувствует себя веселее. Потому что даже самая окаменелая солидность инстинктивно чуждается злопыхательства как нарушающего душевный мир.

— Диковинное это дело, — весело говорит он, — какая нынче свобода дана! читаешь и глазам не веришь! Прежде бы этого самого господина корреспондента за такие его поступки за ушко да на солнышко, а нынче — ничего!.. Начальство только посмеивается. Да ведь оно и вправду: пора господам исправникам честь знать.

Читателя-ненавистника он боится... Последний давит его своею угрюмостью, и необходимость справляться с его мнением и следовать его указаниям представляет не очень приятную перспективу. В столицах и вообще в густонаселенных центрах солидные читатели представляют особь довольно многочисленную, и тем более выдающуюся, что они вербуются преимущественно в чиновничьих рядах. Не особенно это крупные чины, а все-таки свою роль сыграть могут. Да и лестница чинов достаточно подвижна; сегодня какой-нибудь мелкотравчатый внизу копошится, а завтра он уж, смотришь, наверх влез. 〈...〉

Вот почему убежденный писатель, действующий почти исключительно в городских центрах, так часто встречается с резкими превращениями в читательской среде. Почин в этом случае

принадлежит ненавистникам, за которыми рабски следует по пятам воинство солидных читателей. Под их давлением впадает в беспамятство читатель-простец и с болью в сердце стушевывается читатель-друг. Складывается совсем особое общественное мнение, до неузнаваемости потрясенное в самых основаниях. Или, говоря более вразумительно, происходит волшебство, которому долгое время отказываются верить глаза. ⟨...⟩

3. ЧИТАТЕЛЬ-ПРОСТЕЦ

Читатель-простец составляет ядро читательской массы; это — главный ее контингент. Он в бесчисленном количестве кишит на улицах, в театрах, кофейнях и прочих публичных местах, изображая собой ту публику, к услугам которой направлена вся производительность страны, и в то же время ради которой существуют на свете городовые и жандармы.

Он — покупатель и потребитель. Все, что таят в себе недра торговых помещений, начиная от блестящего магазина с зеркальными окнами и кончая вонючей мелочной лавочкой, ютящейся в подвальном этаже, — все это он износит, истребит, выпьет и съест. Понятно, что при таком обширном круге деятельности, ежели дать ему волю, то он будет метаться из стороны в сторону, и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому движения его строго регулируются городовыми, которые наблюдают, чтобы он не попал под вагон и вообще шел в то место, куда следует идти. В последнее время за ним начали зорко следить и газетчики.

Для газетчика простец составляет очень серьезный предмет забот. Он — подписчик и усердный чтец; следовательно, его необходимо уловить,

а это дело нелегкое, потому что простец относится к читаемому равнодушно и читает все, что попадет под руку, наблюдая лишь за тем, как бы не попасть в ответ. Газетчик знает это и мотает себе на ус: «надобно устроить так, чтобы простец читал именно мою газету». Он напрягает усилия, чтобы пробудить простеца из равнодушия, взнуздать его и вообще прикрепить к известному стойлу; а для этого нужно, чтобы прежде всего газетная пища легко переваривалась и чтоб направление газеты не возвышалось над обычным низменным уровнем.

До наступления эпохи возрождения читатель вербовался преимущественно в среде «солидных». Журналов было мало, газет почти совсем не существовало; поэтому и солидной среды было достаточно, чтобы выделить из себя сносный контингент подписчиков. К тому же и издательские требования были скромнее. Журнал или газета, которые считали пять тысяч подписчиков, не только удовлетворялись этим, но и ликовали. Что касается до простеца, то он никакого влияния на журнальное и газетное дело не имел; он называл себя темным человеком и вполне доволен был этим званием. Игнорируя чтение, он почерпал необходимые новости на улице. И это было для него тем сподручнее, что самые новости, которые его интересовали, имели совершенно первоначальный характер, вроде слухов о войне, о рекрутском наборе или о том, что в такой-то день высокопреосвященный собор не служил литургию, а затем во всех церквах происходил целодневный звон. Впрочем, надо сказать правду, что и газеты тогдашние немного опережали улицу в достоинстве предлагаемых новостей, так что, в сущности, не было

особенного резона платить деньги за то, что в первой же мелочной лавке можно было добыть даром.

Но с наступлением эпохи возрождения народилось, так сказать, сословие читателей, и народилось именно благодаря простецам. Последние уже перестали довольствоваться кличкою темных людей и наравне с прочими бросились в деятельный жизненный омут. Происшедшая перемена в общественном настроении затрагивала их даже существеннее, нежели кого-либо, потому что, собственно говоря, она их одних настоящим образом вызвала из щелей на вольный свет.

⟨...⟩ Ошибочно, впрочем, было бы думать, что современный простец принадлежит исключительно к числу посетителей мелочных лавочек и пивных; нет, в численном смысле он занимает довольно заметное место и в культурной среде. Это не выходец из недр черни, а только человек, не видящий перед собой особенных перспектив. И ненавистники и солидные ожидают впереди почестей, мест, орденов, а простец ожидает одного: как бы за день его не искалечили. ⟨...⟩

4. ЧИТАТЕЛЬ-ДРУГ

Я уже сказал выше, что читатель-друг несомненно существует. Доказательство этому представляет уже то, что органы убежденной литературы не окончательно захудали. Но читатель этот заробел, затерялся в толпе, и дознаться, где именно он находится, довольно трудно. Бывают однако ж минуты, когда он внезапно открывается, и непосредственное общение с ним делается возможным. Такие минуты — самые счастливые, которые испытывает убежденный писатель на трудном пути своем.

5 Зак. 2131

К этому мне ничего не остается прибавить. Разве одно: подобно убежденному писателю, и читатель-друг подвергается ампутациям со стороны ненавистников, ежели не успевает сохранить свое инкогнито.

Виноват: еще одно слово. В последнее время я довольно часто получаю заявления, в которых выражается упрек за то, что я сомневаюсь в наличности читателя-друга и в его сочувственном отношении к убежденной литературе. По этому поводу считаю долгом оговориться: ни в наличности читателя-друга, ни в его сочувствии я не сомневаюсь, а утверждаю только, что не существует непосредственного общения между читателем и писателем. Покуда мнения читателя-друга не будут приниматься в расчет на весах общественного сознания с тою же обязательностью, как и мнения прочих читательских категорий, до тех пор вопрос об удрученном положении убежденного писателя останется открытым.

1887 г.

А. П. ЧЕХОВ

УМНЫЙ ДВОРНИК

Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставление. Его слушали лакеи, кучер, две горничные, повар, кухарка и два мальчика-поваренка, его родные дети. Каждое утро он что-нибудь да проповедовал, в это же утро предметом речи его было просвещение.

— И живете вы все как какой-нибудь свинячий народ,—говорил он, держа в руках шапку с

бляхой.—Сидите вы тут сиднем, и кроме невежества не видать в вас никакой цивилизации. Мишка в шашки играет, Матрена орешки щелкает, Никифор зубы скалит. Нешто это ум? Это не от ума, а от глупости. Нисколько нет в вас умственных способностей! А почему?

— Оно действительно, Филипп Никандрыч,— заметил повар. — Известно, какой в нас ум? Мужицкий. Нешто мы понимаем?

— А почему в вас нет умственных способностей?—продолжал дворник.— Потому что нет у вашего брата настоящей точки. И книжек вы не читаете, и насчет писаний нет у вас никакого смысла. Взяли бы книжечку, сели бы себе да почитали. Грамотны небось, разбираете печатное. Вот ты, Миша, взял бы книжечку да прочел бы тут. Тебе польза, да и другим приятность. А в книжках обо всех предметах распространение. Там и об естестве найдешь, и о божестве, о странах земных. Что из чего делается, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем в книжках найдешь, была бы охота. А то сидит себе около печи, жрет да пьет. Чисто как скоты неподобные! Тьфу!

— Вам, Никандрыч, на часы пора, — заметила кухарка.

— Знаю. Не твое дело мне указывать. Вот, к примеру, скажем, хоть меня взять. Какое мое занятие при моем старческом возрасте? Чем душу свою удовлетворить? Лучше нет, как книжка или ведомости. Сейчас вот пойду на часы. Просижу у ворот часа три. И вы думаете зевать буду или пустяки с бабами болтать? Не-ет, не таковский! Возьму с собой книжечку, сяду и буду читать себе в полное удовольствие. Так-то.

Филипп достал из шкафа истрепанную книжку и сунул ее за пазуху.

— Вот оно мое занятие. Сызмальства привык. Ученье свет, неученье тьма — слыхали, чай? То-то...

Филипп надел шапку, крякнул и, бормоча, вышел из кухни. Он пошел за ворота, сел на скамью и нахмурился, как туча.

— Это не народ, а какие-то химики свинячие, — пробормотал он, все еще думая о кухонном населении.

Успокоившись, он вытащил книжку, степенно вздохнул и принялся за чтение.

«Так написано, что лучше и не надо, — подумал он, прочитав первую страницу и покрутив головой. — Умудрит же господь!»

Книжка была хорошая, московского издания: «Разведение корнеплодов. Нужна ли нам брюква». Прочитав первые две страницы, дворник значительно покачал головой и кашлянул.

— Правильно написано!

Прочитав третью страничку, Филипп задумался. Ему хотелось думать об образовании и почему-то о французах. Голова у него опустилась на грудь, локти уперлись в колена. Глаза прищурились.

И видел Филипп сон. Все, видел он, изменилось: земля та же самая, дома такие же, ворота прежние, но люди совсем не те стали. Все люди мудрые, нет ни одного дурака, и по улицам ходят все французы и французы. Водовоз, и тот рассуждает: «Я, признаться, климатом очень недоволен и желаю на градусник поглядеть»,— а у самого в руках толстая книга.

— А ты почитай календарь, — говорит ему Филипп.

Кухарка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставляет свои замечания. Филипп

идет в участок, чтобы прописать жильцов,— и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к лакею Мише, толкает его и кричит: «Ты спишь? Я тебя спрашиваю: ты спишь?»

— На часах спишь, болван? — слышит Филипп чей-то громовой голос.—Спишь, негодяй, скотина?

Филипп вскочил и протер глаза; перед ним стоял помощник участкового пристава.

— А? Спишь? Я оштрафую тебя, бестия! Я покажу тебе, как на часах спать, моррда!

Через два часа дворника потребовали в участок. Потом он опять был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам.

Филипп, нахмуренный, красный, подошел к Мише, ударил рукавицей по книге и сказал мрачно:

— Брось!

1883 г.

ЧТЕНИЕ

РАССКАЗ СТАРОГО ВОРОБЬЯ

Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Семипалатова сидел антрепренер нашего театра Галамидов и говорил с ним об игре и красоте наших актрис.

— Но я с вами не согласен, — говорил Иван Петрович, подписывая ассигновки. — Софья Юрьевна сильный, оригинальный талант! Милая такая, грациозная... Прелестная такая...

Иван Петрович хотел дальше продолжать, но от восторга не мог выговорить ни одного слова и улыбнулся так широко и слащаво, что антре-

пренер, глядя на него, почувствовал во рту сладость.

— Мне нравится в ней... э-э-э... волнение и трепет молодой груди, когда она читает диалоги... Так и пышет, так и пышет! В этот момент, передайте ей, я готов... на все!

— Ваше превосходительство, извольте подписать ответ на отношение херсонского полицейского правления касательно...

Семипалатов поднял свое улыбающееся лицо и увидел перед собой чиновника Мердяева. Мердяев стоял перед ним и, выпучив глаза, подносил ему бумагу для подписи. Семипалатов поморщился: проза прервала поэзию на самом интересном месте.

— Об этом можно бы и после,— сказал он.— Видите ведь, я разговариваю! Ужасно невоспитанный, неделикатный народ! Вот-с, господин Галамидов... Вы говорили, что у нас нет уже гоголевских типов... А вот вам! Чем не тип? Неряха, локти продраны, косой... никогда не чешется... А посмотрите, как он пишет! Это черт знает что! Пишет безграмотно, бессмысленно... как сапожник! Вы посмотрите!

— М-да,— промычал Галамидов, посмотрев на бумагу.—Действительно... Вы, господин Мердяев, вероятно, мало читаете.

— Этак, любезнейший, нельзя!— продолжал начальник.— Мне за вас стыдно! Вы бы хоть книги читали, что ли...

— Чтение много значит!— сказал Галамидов и вздохнул без причины.—Очень много! Вы читайте и сразу увидите, как резко изменится ваш кругозор. А книги вы можете достать, где угодно. У меня, например... Я с удовольствием. Завтра же я завезу, если хотите.

— Поблагодарите, любезнейший!— сказал Семипалатов.

Мердяев неловко поклонился, пошевелил губами и вышел.

На другой день приехал к нам в присутствие Галамидов и привез с собой связку книг. С этого момента и начинается история. Потомство никогда не простит Семипалатову его легкомысленного поступка. Это можно было бы, пожалуй, простить юноше, но опытному действительному статскому советнику—никогда! По приезде антрепренера Мердяев был позван в кабинет.

— Нате вот, читайте, любезнейший,—сказал Семипалатов, подавая ему книгу.— Читайте внимательно.

Мердяев взял дрожащими руками книгу и вышел из кабинета. Он был бледен. Косые глазки его беспокойно бегали и, казалось, искали у окружающих предметов помощи. Мы взяли у него книгу и начали ее осторожно рассматривать. Книга была «Граф Монте-Кристо».

— Против его воли не пойдешь!— сказал со вздохом наш старый бухгалтер Прохор Семеныч Будылда.— Постарайся как-нибудь, понатужься... Читай себе помаленьку, а там, бог даст, он забудет, и тогда бросить можно будет. Ты не пугайся... А главное — не вникай... Чтай и не вникай в эту умственность.

Мердяев завернул книгу в бумагу и сел писать. Но не писалось ему на этот раз. Руки у него дрожали и глаза косили в разные стороны: один в потолок, другой в чернильницу. На другой день пришел он на службу заплаканный. Четыре раза уж начинал,— сказал он,— но ничего не разберу... Какие-то иностранцы...

Через пять дней Семипалатов, проходя мимо столов, остановился перед Мердяевым и спросил:

— Ну, что? Читали книгу?

— Читал, ваше превосходительство.

— О чем же вы читали, любезнейший? А ну-ка, расскажите!

Мердяев поднял вверх голову и зашевелил губами.

— Забыл, ваше превосходительство...— сказал он через минуту.

— Значит, вы не читали, или, э-э-э... невнимательно читали! Авто-ма-тически! Так нельзя! Вы еще раз прочтите! Вообще, господа, рекомендую. Извольте читать! Все читайте! Берите там у меня на окне книги и читайте. Парамонов, подите возьмите себе книгу! Подходцев, ступайте и вы, любезнейший! Смирнов — и вы! Все, господа! Прошу!

Все пошли и взяли себе по книге. Один только Будылда осмелился выразить протест. Он развел руками, покачал головой и сказал:

— А уж меня извините, ваше превосходительство... Скорей в отставку... Я знаю, что от этих самых критик и сочинений бывает. У меня от них старший внук родную мать в глаза дурой зовет и весь пост молоко хлещет. Извините-с!

— Вы ничего не понимаете,— сказал Семипалатов, прощавший обыкновенно старику все его грубости.

Но Семипалатов ошибался: старик все понимал. Через неделю же мы увидели плоды этого чтеня. Подходцев, читавший второй том «Вечного жида», назвал Будылду «иезуитом»; Смирнов стал являться на службу в нетрезвом виде. Но ни на кого не подействовало так чтение, как на Мердяева. Он похудел, осунулся, стал пить.

— Прохор Семеныч!— умолял он Будылду.— Заставьте вечно бога молить! Попросите вы его превосходительство, чтобы они меня извинили... Не могу я читать. Читаю день и ночь, не сплю, не ем... Жена вся измучилась, вслух читавши, но, побей бог, ничего не понимаю! Сделайте божескую милость!

Будылда несколько раз осмеливался докладывать Семипалатову, но тот только руками махал и, расхаживая по правлению вместе с Галамидовым, попрекал всех невежеством. Прошло этак два месяца, и кончилась вся эта история ужаснейшим образом.

Однажды Мердяев, придя на службу, вместо того чтобы садиться за стол, стал среди присутствия на колени, заплакал и сказал:

— Простите меня, православные, за то, что я фальшивые бумажки делаю!

Затем он вошел в кабинет и, став перед Семипалатовым на колени, сказал:

— Простите меня, ваше превосходительство: вчера я ребеночка в колодец бросил!

Стукнулся лбом об пол и зарыдал...

— Что это значит?!— удивился Семипалатов.

— А это то значит, ваше превосходительство— сказал Будылда со слезами на глазах, выступая вперед,—что он ума решился! У него ум за разум зашел! Вот что ваш Галамидка сочинениями наделал! Бог все видит, ваше превосходительство. А ежели вам мои слова не нравятся, то позвольте мне в отставку. Лучше с голоду умереть, чем этакое на старости лет видеть!

Семипалатов побледнел и прошелся из угла в угол.

— Не принимать Галамидова!— сказал он глухим голосом.— А вы, господа, успокойтесь.

Я теперь вижу свою ошибку. Благодарю, старик!

И с этой поры у нас больше ничего не было. Мердяев выздоровел, но не совсем. И до сих пор при виде книги он дрожит и отворачивается.

1884 г.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Андрей Андреевич Сидоров получил в наследство от своей мамаши четыре тысячи рублей и решил открыть на эти деньги книжный магазин. А такой магазин был крайне необходим. Город коснел в невежестве и в предрассудках; старики только ходили в баню, чиновники играли в карты и трескали водку, дамы сплетничали, молодежь жила без идеалов, девицы день-деньской мечтали о замужестве и ели гречневую крупу, мужья били своих жен и по улицам бродили свиньи.

«Идей, побольше идей!— подумал Андрей Андреевич.— Идей!»

Нанявши помещение под магазин, он съездил в Москву и привез оттуда много старых и новейших авторов и много учебников, и расставил все это добро по полкам. В первые три недели покупатели совсем не приходили. Андрей Андреевич сидел за прилавком, читал Михайловского и старался честно мыслить. Когда же ему невзначай приходило в голову, например, что недурно бы теперь покушать леща с кашей, то он тотчас же ловил себя на этих мыслях: «Ах, как пошло!» Каждый день утром в магазин опрометью вбегала озябшая девка в платке и в кожаных калошах на босую ногу и говорила:

— Дай на две копейки уксусу!

И Андрей Андреевич с презрением отвечал ей:

— Дверью ошиблись, сударыня!

Когда к нему заходил кто-нибудь из приятелей, то он, сделав значительное и таинственное лицо, доставал с самой дальней полки третий том Писарева, сдувал с него пыль и с таким выражением, как будто у него в магазине есть еще кое-что, да он боится показать, говорил:

— Да, батенька... Это штучка, я вам доложу, не того... Да... Тут, батенька, одним словом, я должен заметить, такое, понимаете ли, что прочтешь да только руками разведешь... Да.

— Смотри, брат, как бы тебе не влетело!

Через три недели пришел первый покупатель. Это был толстый седой господин с бакенами, в фуражке с красным околышем, по всей видимости, помещик. Он потребовал вторую часть «Родного слова».

— А грифелей у вас нет?— спросил он.

— Не держу.

— Напрасно... Жаль. Не хочется из-за пустяка ехать на базар...

«В самом деле, напрасно я не держу грифелей,— думал Андрей Андреевич по уходе покупателя.—Здесь, в провинции, нельзя узко специализироваться, а надо продавать все, что относится к просвещению и так или иначе способствует ему».

Он написал в Москву, и не прошло месяца, как на окне его магазина были уже выставлены перья, карандаши, ручки, ученические тетрадки, аспидные доски и другие школьные принадлежности. К нему стали изредка заходить мальчики и девочки, и был даже один такой день, когда

он выручил рубль сорок копеек. Однажды опрометью влетела к нему девка в кожаных калошах; он уже раскрыл рот, чтобы сказать ей с презрением, что она ошиблась дверью, но она крикнула:

— Дай на копейку бумаги и марку за семь копеек!

После этого Андрей Андреевич стал держать почтовые и гербовые марки и кстати уж вексельную бумагу. Месяцев через восемь (считая со дня открытия магазина) к нему зашла одна дама, чтобы купить перьев.

— А нет ли у вас гимназических ранцев?— спросила она.

— Увы, сударыня, не держу!

— Ах, какая жалость! В таком случае покажите мне, какие у вас есть куклы, но только подешевле.

— Сударыня, и кукол нет!— сказал печально Андрей Андреевич.

Он, недолго думая, написал в Москву, и скоро в его магазине появились ранцы, куклы, барабаны, сабли, гармоники, мячи и всякие игрушки.

— Это все пустяки!— говорил он своим приятелям.—А вот погодите, я заведу учебные пособия и рациональные игры! У меня, понимаете ли, воспитательная часть будет зиждеться, что называется, на тончайших выводах науки, одним словом...

Он выписал гимнастические гири, крокет, трик-трак, детский бильярд, садовые инструменты для детей и десятка два очень умных, рациональных игр. Потом обыватели, проходя мимо его магазина, к великому своему удовольствию, увидели два велосипеда: один большой, другой поменьше. И торговля пошла на славу. Особенно

хороша была торговля перед Рождеством, когда Андрей Андреевич вывесил на окне объявление, что у него продаются украшения для елки.

— Я им еще гигиены подпущу, понимаете ли,— говорил он своим приятелям, потирая руки.— Дайте мне только в Москву съездить! У меня будут такие фильтры и всякие научные усовершенствования, что вы с ума сойдете, одним словом. Науку, батенька, нельзя игнорировать. Не-ет!

Наторговавши много денег, он поехал в Москву и купил там разных товаров тысяч на пять, за наличные и в кредит. Тут были и фильтры, и превосходные лампы для письменных столов, и гитары, и гигиенические кальсоны для детей, и соски, и портмоне, и зоологические коллекции. Кстати же он купил на пятьсот рублей превосходной посуды и был рад, что купил, так как красивые вещи развивают изящный вкус и смягчают нравы. Вернувшись из Москвы домой, он занялся расстановкой нового товара по полкам и этажеркам. И как-то случилось, что, когда он полез, чтобы убрать верхнюю полку, произошло некоторое сотрясение и десять томов Михайловского один за другим свалились с полки; один том ударил его по голове, остальные же попадали вниз прямо на лампы и разбили два ламповых шара.

— Как, однако, они ... толсто пишут!— пробормотал Андрей Андреевич, почесываясь.

Он собрал все книги, связал их крепко веревкой и спрятал под прилавок. Дня через два после этого ему сообщили, что сосед бакалейщик приговорен в арестантские роты за истязание племянника и что лавка поэтому сдается. Андрей Андреевич очень обрадовался и приказал

оставить лавку за собой. Скоро в стене была уже пробита дверь, и обе лавки, соединенные в одну, были битком набиты товаром; так как покупатели, заходившие во вторую половину лавки, по привычке все спрашивали чаю, сахару и керосину, то Андрей Андреевич, недолго думая, завел и бакалейный товар.

В настоящее время это один из самых видных торговцев у нас в городе. Он торгует посудой, табаком, дегтем, мылом, бубликами, красным, галантерейным и москательным товаром, ружьями, кожами и окороками. Он снял на базаре ренсковый погреб и, говорят, собирается открыть семейные бани с номерами. Книги же, которые когда-то лежали у него на полках, в том числе и третий том Писарева, давно уже проданы по 1 р. 5 к. за пуд.

На именинах и на свадьбах прежние приятели, которых Андрей Андреевич теперь в насмешку величает «американцами», иногда заводят с ним речь о прогрессе, о литературе и других высших материях.

— Вы читали, Андрей Андреевич, последнюю книжку «Вестника Европы»?—спрашивают его.

— Нет, не читал-с,— отвечает он, щурясь и играя толстой цепочкой.— Это нас не касается. Мы более положительным делом занимаемся.

1892 г.

Д. И. СТАХЕЕВ

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ

ОТРЫВОК

⟨...⟩ И в самом деле, если представить книги оживотворенными и послушать, о чем они одна за другою разговаривают, сколько интересного можно бы узнать, и не только о жизни их владельцев, но и об их собственных скитаниях из одного книжного шкафа в другой.

Например: старинный какой-нибудь том, толстый, с массивными по бокам застежками, с бумагой, потемневшей от времени, сколько бы мог порассказать о себе. Какой важный и строгий был тон его речи и голос, вероятно, хриплый, прерываемый по временам кашлем сухим и продолжительным, заканчивающимся вздохом и жалобами на то, что он «забыт». А какая-нибудь маленькая, тоже старенькая книжоночка в полинялом цветном переплете и с давно отцветшим оттиском когда-то золотых букв ее заглавия на корешке, говорила бы, вероятно, слезливым тоном и торопливо так, с явною озабоченностию о том, что толстые книги не дадут ей высказаться до конца и непременно оборвут ее на полуслове.

— Да и я,— сказала бы она из дальнего угла шкафа, притиснутая к его стенке каким-нибудь огромным пузаном на латинском языке,— и я видала на своем веку виды, бывала и в Германии, и в Италии, и вот уже сорок лет в России. Я родом француженка. Мамаша моя хотя и не пользовалась большой известностью, но была женщина религиозная и высокой нравственности. И своим появлением на свет я обязана этим ее

примерным душевным качествам. Конечно, успехи в свете для многих весьма привлекательны; но ведь если смотреть на жизнь с высшей точки зрения, то в ней tout est vanitè et tourments d'esprit*.

И, конечно, ее плаксивую речь непременно бы перебили пузатые большие томы, и какой-нибудь неудачник, мечтавший когда-то о всесветной славе и не получившей ее даже в своем муравейнике, может быть, добавил бы:

— Суета суетой, а главное —интриги...

Сколько рассказов можно было бы услыхать от них о том, где, когда и чему они были свидетелями, как встречались после многолетней разлуки со старыми товарищами по шкафам. Иные, искалеченные, истрепанные житейскими невзгодами, вероятно, жаловались бы на свою горькую судьбу, оплакивая вырванные и бог весть где скитающиеся свои страницы. Иные счастливцы надменно кичились бы переплетами и блеском золота на их корешках. Какой-нибудь веселый французский томик с чрезвычайно живым и развязным текстом, чистенький и непомятый, в ярком переплете, не утратившем свежести даже чрез полустолетие своего скитания по книжным шкафам, мог сказать, хотя бы, например, тому Лютера, неуклюже переплетенному лет двести тому назад в грубый кусок кожи, что «я, мол, cher ami, на жизнь смотрю легко, ничем не огорчаюсь и ни в каком обществе не стесняюсь. Конечно, мне ваше соседство скучновато и, признаюсь, я даже не разделяю ваших взглядов на католичество, но я все-таки, как просвещенный человек, разумеется, понимаю, что при искренности своей вы

* Все суета сует и муки разума (*фр.*).

иначе действовать не могли. Я, mon cher, могу обо всем рассуждать свободно. И в своей жизни в ста шкафах перебывал и не только с разными современными пустозвонами находился в соседстве, но и с философами рядом стаивал и даже знаком с их учениями. Кантова «Вещь сама в себе», Платоновы «Идеи», Спинозова «Субстанция» и Шопенгауэрова «Воля»—мне все это, mon cher, знакомо и, pardon, я смотрю на все это, как на толчение воды в ступе, и как там господа философы ни рассуждай, а схватить черта за хвост им все-таки не удастся». Разумеется, мрачный том Лютера мог разгневаться на легкомысленную болтовню француза и пожалеть, что не имеет возможностей пустить в него чернильницей, подобно тому, как когда-то пустил ее сам Лютер в черта. Точно так же мог бы он, будучи одарен способностью излагать свои мысли, бросить неприятному соседу упрек за то, что он городит всякий вздор, напомнить ему, что он случайный выскочка и попал в шкаф ученого старца только по недоразумению и всем известной его рассеянности, и, может быть, сегодня же он заметит его и бесцеремонно вышвырнет в прихожую, в общую груду того книжного хлама, который время от времени накопляется в его квартире в виде разных брошюр и периодических изданий и сбывается букинистам на вес.

— Да, друг,— ответил бы возвратившийся том на вопрос собрата,— жизнь — это ряд невзгод, неожиданностей и несообразностей. Жизнь — это загадка, сфинкс. Никак нельзя никакого толку в ней добраться. Одним — удача на каждом шагу, великолепные переплеты, позолоченный обрез бумаги, помещение роскошное в резных шкафах, тогда как по содержанию своему они

этого все не заслуживают. Другим — вечные невзгоды, скитания по сырым холодным книжным ларям, утрата друзей, страниц, переплетов, в то время, когда они по драгоценности своего содержания должны бы красоваться всюду на видном месте. Решительно не понимаю, в чем цель жизни и ее внутренний смысл. Я, например, тяжкую участь испытал, а спросить — за что? За какие такие прегрешения? Никто на этот вопрос не ответит. Я десять лет лежал в темноте, не видя свету божьего, в сыром углу книжной лавки, и во все эти тяжкие годы не было мне ни на один час облегчения. На мне лежала какая-то огромная груда книг и давила меня своей тяжестью. Когда, по воле судеб, наступил, наконец, час моего освобождения, я даже испугался его и, как Боннивар, узник Шильонского замка, вздохнул о своей утраченной неволе. Мне было страшно за жизнь моих листков, они так слиплись один с другим, что, только благодаря необычной вежливости моего владельца, я уцелел. Но, увы, не на радость. Представь, по его первому нежному со мной обращению я даже подумал, что попал в хорошие руки... Оказалось, что же! Он ласково обошелся со мной только в первые дни моего поступления, бережно перелистывал страницы, заботливо разглаживая помятые листики — и вот, думал я, наконец-то пришло мое время: теперь будут меня читать и не забросят более в темный угол. Но я жестоко ошибся. Новый хозяин мой на другой же день поставил меня в шкаф и, ужас, никогда уже более не удостаивал меня внимания. Я оставался на полном забвении и в течение многих лет был всего только раза два или три развернут им для каких-то ученых справок. В первые же дни моего пребы-

вания в его шкафе я догадался, что участь, подобная моей, постигает тысячи других книг. Я стоял в шкафу на весьма видном месте около двери в другую комнату, в которой, вероятно, тоже находились книги, по крайней мере, на это указывала надпись, сделанная на двери кем-то из знакомых моего хозяина в его отсутствие. Надпись эта гласила: «Бездна бездну призывает». Помню, как иногда по вечерам собирались у хозяина гости, такие же, как и он, старички, в очках, седые и лысые, и как по поводу надписи на двери, очевидно, сделанной с шутливым намеком на его страсть к книгам, один из старичков заметил, что она почти не выражает той мысли, которую автор ее имел в виду, и что на ее месте благопристойнее поместить другую, а именно: «Чем дальше в лес, тем больше дров». Помню, как в ответ на это замечание хозяин добродушно засмеялся и сказал, что от такого почтенного, убеленного сединами старца всего скорее можно было ожидать порицания шутнику-автору, а он еще его поправляет и усиливает значение шутки. Другие старички тоже посмеялись и, расходясь потом после чаю по домам, по обыкновению оставили в комнате много дыму от дешевых сигар, от которого потом долго кашляла единственная прислуга хозяина, тощая и молчаливая старуха...»

И много бы еще могли рассказать книги и грустного, и смешного, и поучительного из жизни подобных стариков, составляющих в наши дни уже библиографическую, так сказать, редкость; но всего не переслушаешь. ⟨...⟩

1890 г.



КНИЖНАЯ ПЫЛЬ

НАЧАЛО XX ВЕКА

Каждый день впиваясь
в строчки,
Он глупеет и умнеет;
Коли автор глуп – глупеет,
Коли умница – умнеет...

Саша Черный

В. А. АЗОВ

КНИЖНЫЙ ПОТОП

— Положительно житья не стало от книг,— сказал доктор.— Ведь вы знаете мой образ жизни? Утром больница, потом прием на дому, потом визиты. Приедешь домой, пошабашив, часов в семь. Ну, обедаешь. Жена, дети, домашние разные дела — надо со всеми поговорить. Полчаса я сплю после обеда. Наконец, вечер. 9 часов. Допустим, что больные все благоденствуют—никто не зовет к себе, никто не вызывает по телефону, чтобы спросить, можно ли ему пить чай из стакана или же только из чашки. Допустим, что нет никаких заседаний, что нет новых медицинских журналов, которые необходимо ведь просматривать, чтобы не прозевать последних изобретений французских аптекарей. Допустим, что никого не принес черт на огонек. Между прочим, удивительно глупый повод для визита: пришел на огонек! Если у человека огонек в доме, значит, надо прийти ему надоедать? Что же, человеку в темноте сидеть дома? Ну, хорошо! Словом, допустим, что у меня есть свободных три или четыре часа, надо ведь и спать человеку, который встает ежедневно в восемь? Великолепно. Значит, я свободен и говорю себе: дай-ка я чего ни на есть почитаю, что бог послал. И вот подхожу я к столу, что у меня в кабинете специально для новых книг. Господи! Чего-чего только мой комиссионер не наворотил мне за три-четыре дня, что я не подходил к столу!

Тут и по естествознанию три-четыре книжки, и по истории, и по философии, и пара новых журналов, и две книги стихов, и штук пять беллетристики, такой альманах, сякой альманах, такой сборник, этакий сборник, книга рассказов, роман, книга стихов, еще книга стихов, еще том рассказов. Мать святая, что же мне со всем этим добром делать? С чего же мне начать? Руки ведь опускаются, когда подумаешь, сколько надо времени, чтобы хотя бы перелистать всю эту груду книг. А уж прочитать — и думать нечего. Ну, что ж, начинаю. Пока разрежешь книгу, да прочтешь оглавление, да рисунки посмотришь, если есть, или проспект от издательства прочитаешь — смотришь, уже десятый час. Прочел там стихотворение, там полрассказа, там наскоро пробежал главу, там перелистал,—12! Надо спать идти — клонит ко сну. Прочтешь, какое-нибудь предисловие—половина первого! Глаза смыкаются, начинаешь зевать. Да ну вас, думаю, к лешему! Разве я могу в три часа десять книг прочесть? И идешь спать. А через три дня опять свободный вечер— смотришь, тебе еще десяток книг подвалили. Такой альманах, сякой сборник. Что же это такое? Раньше ничего подобного не было. Да тут на одно разрезывание книг целый вечер уйдет. Я вас спрашиваю, господа, что же это такое? Это какой-то потоп книжный! Когда же тут старое-то прочитывать, когда и новое-то не успеешь разрезать? А ведь иногда и Толстого надо почитать, и Тургенева. Я ей-богу не знаю, как быть с этим книжным наводнением. Я хочу объявить забастовку...

— В социалистическом государстве,—сказал молодой человек, племянник доктора,— книги будут выпускаться в свет непременно разрезан-

ными и переплетенными. Частные же издатели, как капиталисты, вовсе не желают экономить время читателя. Если бы наша Дума не была так безнадежно плоха, нашей фракции следовало бы ввести законопроект, обязывающий издателей по крайней мере разрезать книги, если уж не переплетать их.

— Скоро у нас будет, как в Америке,— сказал адвокат.— Ведь в Америке мужчины ничего не читают, кроме газет. Книги и журналы там читают только дамы.

— Да и у нас читают только дамы и молодежь!—воскликнул студент.— Спросите в книжных магазинах, кто покупает книги? Вам скажут: студенты. Солидные господа покупают книги или по своей специальности, или для подарков детям.

— Я не знаю,— сказал инженер,— будут ли непременно переплетаться книги в социалистическом государстве, но доктор сказал чистую правду. Читать некогда! Борьба за существование отнимает так много времени, что не до чтения. Я думаю, скоро образуется особый класс читателей, которые только чтением и будут заниматься. В истории все повторяется. Одно время книги были достоянием жрецов. Они опять сделаются достоянием особой касты.

— Это еще счастье,— сказал пожилой господин,—что книги печатаются теперь на древесной бумаге, которую время превращает в пыль. Что бы это было, если бы книги сохранялись веками? При теперешнем росте книгопечатанья людям жить негде стало бы из-за книг. Книги заполонили бы свет.

— «Собрать все книги бы да сжечь»,— иронически процитировал гимназист.

— Не сжечь,—сказал инженер,— а утопить. Утопить ровно 75% новых книг. Можно было бы засыпать книгами каналы, осушать ими болота. Я думаю, при помощи одного Ната Пинкертона и его производных можно было бы превратить в отличный широкий проспект Екатерининский канал.

— Взгляд, достойный обскуранта,— прошипела молодая барышня.

— Ничего подобного!—возразил инженер.— В наших сетованиях нет ни капли обскурантизма. Зачем создавать себе идола из чего бы то ни было? Есть нужные книги — и есть ненужные и потому вредные. Плохая книга хуже и во сто крат вреднее плохой картины. Плохая картина метнулась вам в глаза — и вы уже определили: это плохая картина, это ненужная картина...

Тут нет вовлечения в невыгодную сделку. Что же касается книги — это ящик, запертый семью ключами. Обложка вам либо ничего не говорит, либо, при нынешних успехах типографского искусства, говорит в пользу книги. Название — тоже либо ничего не говорит вам, либо заманивает вас внутрь книги своей загадочностью. И вот вы купили книгу — истратились. Вот вы уселись с книгой — начинаете ее читать. Чтобы вполне определенно заключить, что вас обманули, что вам дали плохую книгу, вы должны прочитать, по крайней мере, десять первых страниц ее и десять последних, значит, затратили на нее, кроме истраченных уже денег, еще и сорок-пятьдесят минут времени. Скажите же теперь, из 100 новых книг, которые вы покупаете, какой процент совершенно разочаровывает вас, какой процент заставляет вас лить слезы о выброшенных за

окно деньгах и выброшенном за окно времени? Об заклад бьюсь — 75 процентов!..

— Форменное вовлечение в невыгодную сделку,— сказал адвокат.— Конечно, плохая книга во сто крат хуже плохой картины. Но не будем говорить о плохих книгах. Их вред совершенно ясен,— поговорим о просто ненужных книгах, о лишних книгах. Ведь их десятки тысяч! Разве нужны кому-нибудь средние стихи, гладкие, но холодные, не лишенные красоты и содержания, но не захватывающие, когда есть такая масса стихотворений вдохновенных, глубоких, совершенных? Разве нужны кому-нибудь средние рассказы, недурные психологические этюды, не лишенные наблюдательности очерки, довольно интересные по своей фабуле романы, когда есть такая масса великолепных произведений, обреченных вечности? Мало того, что они не нужны — все эти средние стихи, средние рассказы и средние романы. Они вредны! Вы должны ведь прочитать роман Иванова-17-го, чтобы убедиться, что он не Андреев, стихотворение Иванова-18-го, чтобы убедиться, что это не Брюсов.

— Что же вы рекомендовали бы,— съязвил студент,— литературную пробирную палатку, что ли? Чтобы на книгах особую пробу ставили? 84-й пробы книга? — Нет-с, извините, 56-й-с?— Ну, так не надо. Давайте другую!

— Это было бы великолепно, если бы это было осуществимо,— сказал доктор.— А то не угодно ли, навозну кучу разрывая, искать жемчужное зерно. Ей-богу, я бы создал такую пробирную палатку. Посадил бы в нее десяток первейших писателей, общепризнанных талантов, и заставил бы их оценивать все главные книги.

— Словом,— сказал студент,— создали бы ака-

демию? Ну и не дали бы дороги ни одному новому таланту, задушили бы, может быть, при первых попытках проявить себя, нового гения. Ведь вы посадили бы, конечно, председателем вашей пробирной палатки Льва Толстого. А он вкатил бы 56-ю пробу Сологубу.

— Сологуб добился бы признания, какую бы пробу ни вкатил Толстой, ибо я устроил бы, чтобы парализовать ошибки литературной пробирной палатки, апелляционную инстанцию из специально посвятивших себя чтению жрецов. Эта коллегия исправила бы ошибку профессиональных писателей. Это были бы, так сказать, присяжные при коронном суде. Они руководились бы не законом — в данном случае, той или иной теорией искусства, не догматами известной школы или кружка, а голосом своей совести, в данном случае, своим вкусом.

— И что же, ваша литературная пробирная палатка была бы казенным институтом?— спросил молодой человек.

— Непременно государственным. Всякий автор был бы обязан представить в пробирную палатку свою книгу и печатать на самой обложке своей книги объявленную ему пробу четким, ясным шрифтом. А затем он волен был бы, даже если его книгу признали сплошной лигатурой, печатать ее в каком угодно количестве экземпляров и продавать по какой угодно цене. Что вы думаете, не нашлось бы для низкопробной книги читателя? Сколько угодно! Как находятся покупатели для лубочных картин, для статуй из гипса, продаваемых с лотков, для гнилых яблок и шоколадного лома. Но зато читатель с развитым вкусом не терял бы понапрасну деньги на покупку и время на чтение низкопробных книг.

— Ей-богу, это отличный проект,— сказал адвокат.— Литературная пробирная палатка необходима!

— Вам никогда не удастся осуществить эту идею, если вы не проведете сначала, в законодательном тоже порядке, литературной нормировки,— сказал инженер.— Поток новой литературы утопит вашу пробирную коллегию.

— О какой нормировке вы говорите?— сказал адвокат.— Поясните вашу мысль.

— Вы знаете, конечно,— сказал инженер,— что правительство нормирует количество сахара, выпускаемого заводами на рынок. Для того, чтобы цена на сахар не подвергалась резким колебаниям, правительство то прекращает выпуск сахара на рынок, то разрешает его. Точно такая же нормировка должна быть применена к литературе. Я полагаю, что сейчас следовало бы запретить выпуск новых книг, по крайней мере, на два года. Пусть их печатают, но держат пока, как сахар, в неприкосновенном запасе. А года через два, когда литературная пробирная палатка успеет пометить тою или иною пробой книги, вышедшие с 1905 года, можно будет разрешить выпуск на рынок еще 10.000 пудов сахару, то бишь 10.000 названий.

— Я... Я не могу больше!— воскликнул гимназист.— Здесь издеваются над литературой и взывают к полицейскому вмешательству в области свободного искусства... Это... Это... провокаторские проекты... это проекты, достойные охранного отделения...

Доктору еле-еле удалось убедить пылкого юношу, что инженер шутил...

1908 г.

КНИГА

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

Нынче,— не то, что в дореформенное время,— книга у нас в чести. Недавно была выставка печати, в некотором роде — бенефис книги.

Сейчас заседает библиотечный съезд, и с разрешения начальства любители книги судят и рядят, как надо холить книгу, и под каким каталогом любит книга значиться — под карточным или еще каким-нибудь. Книга сделалась совсем невинной вещью, вроде плетеной мебели или ваксы гуталин. А еще совсем недавно книга была вещью подозрительной, и априорно каждая книга считалась у нас вредной, доколе не будет доказано относительно данной книги противное. Библитекари и библиотекарши считались у нас «третьим элементом» и внутренним врагом. Публичные библиотеки терпелись, но в ограниченном количестве, и за каталогами их следили, как за зеницею чьего-то дорогого ока. А разрешение на открытие частной библиотеки было труднее получить, чем нынче концессию на постройку железной дороги. Боже мой, как все меняется вокруг и как быстро летит колесница прогресса! На Невском появились — первые ласточки культурной весны — извозчики с таксомоторами, а книга сделалась просто книгой. «Сидит дома и все книжки читает». Раньше этой характеристики достаточно было, чтобы погубить человека навеки. А нынче — позвольте-с! Да может быть, я возлюбил книгу на выставке печати, устроенной самим главным управлением по делам печати — вот что-с! Да я, может быть, готовлю доклад для библиотечного съезда, разрешенного самим министром внутренних дел! Вот как-с! Нет уж, извините, голубчики!

Раньше вы считали меня подозрительным человеком только потому, что я переплетчик, а уж нынче — извините! Нынче я зажгу лампу и буду читать всю ночь напролет, назло старшему дворнику. Пускай он вам завтра докладывает о моем подозрительном поведении. Я не боюсь. Нынче книга все равно, что тульский самовар. Можете вы меня за тульский самовар преследовать? Не можете? Ну то-то!

Какие-то еще там отсиживают в тюрьмах за книгу, да кое-где в провинции иногда со старого разгону губернатор прихлопнет библиотеку или урядник начнет отбирать у крестьян брошюры. На это обижаться нечего. Это пережитки дореформенного прошлого, когда еще не было таксомоторов и книга считалась вещью подозрительной и неблагонадежной, которую терпеть еще кое-как можно, но поощрять никак уж нельзя. Нынче книга освобождена! У меня есть один филер знакомый, так он, бывало, на всех съездах тут как тут. Медицинский ли съезд, профессиональный ли какой, кредитных ли деятелей, земских ли ремесленников — он слушает и все что-то в книжку пишет. Нынче библиотечный съезд, а я его встречаю на поплавке: пьет холодную водку и финляндским раком закусывает.

— Вы не на съезде? — воскликнул я, объятый изумлением.

— На каком еще?

— Да на библиотечном.

— Э!

Он махнул рукой и оторвал финляндскому раку правую клешню.

Добро бы какой опасный съезд, а то библиотечный. Об невинном разговаривают: о книге...

Боже, какой прогресс!

1911 г.

П. П. ГНЕДИЧ

КНИЖНАЯ ПЫЛЬ

ТЕНИ ПРОШЛОГО

Когда Давыд Давыдович женился на Ие Аркадьевне, он, показывая свое имущество, сказал ей:

— Единственное мое богатство, Иечка, заключается в моей библиотеке; здесь, правда, всего три тысячи шестьсот книг, но подобраны они образцово. У нас есть совершенно пустая полутемная комната: туда мы поставим семь этих шкапов, а сюда закажем новые. Ты понимаешь, что при моих научных занятиях — библиотека половина жизни. Философ должен следить за всем без исключения — за всеми отделами науки и искусства. Мне всего тридцать четыре года — и я уже обладаю редким сокровищем. Подумай, что будет через тридцать лет!

Но Ия Аркадьевна поцеловала в ответ мужа в лоб и сказала:

— Умник мой, Давыдушка,— наживем миллион книг и будем самыми богатыми людьми на свете.

Конечно, Иечка не могла себе представить, что такое миллион книг; для нее, как для московской свахи, все, что свыше десяти тысяч, было миллионом. Она только заметила через полгода после свадьбы:

— Знаешь, Выдочка,— от этих книг ужасная пыль. Отчего ты не держишь их в шкафах под стеклом?

Выдочка объяснил:

— Видишь, Иечка, крошка моя: когда занят серьезной работой и нужны для справки одна,

другая, десятая книга,— тут нет времени поворачивать ключ, отпирать дверцу, запирать. Они все равно остаются отворенными. При этом у дверец шкапов проклятые столяры делают зачем-то необыкновенно острые углы, и о них непременно приходится стукаться головой. Особенно это неприятно, когда сидишь на корточках и разбираешься на нижней полке, а потом встаешь, и дверца угодит прямо в темя, знаешь, где у детей бывает родничок. Это очень опасное место.

— Но, Выдочка, надо же смотреть вокруг себя, думать?

— Ты наивна, дружочек. Когда человек пишет ученую статью, он ничего не видит и ни о чем не думает. Нет, я готов лучше горничной прибавить лишние рубля три в месяц, только бы она одно утро в неделю посвящала на генеральную перетерку книг. Ты говоришь — пыль. Но в книжной пыли есть своего рода прелесть: тонкий, малоуловимый аромат — средний между горьким миндалем и ванилью... Ты едва ли это чувствуешь, так как у женщин носовой аппарат гораздо менее восприимчив, чем у мужчин,— точно так же, как и вкусовой: вот почему повара готовят лучше кухарок...

— Ах, Выдочка, какую ты несешь чепуху,— остановила его Ия.— Разве может у мужчины чувство быть больше развито, чем у женщины?..

Но разговор этот не перешел в ссору. Так было в первый год их супружества.

* * *

Книга — то же, что кролики. Стоит завести весною пару этих невинных тварей, чтобы к концу лета они переполнили двор, огород, поле и соседнюю рощу. Они плодятся так успешно, что

у самого убежденого члена общества покровительства животным является неудержимое желание выстрелить из пушки дробью или купить мышьяку, причем, в виде утешения, он припоминает, что из кроличьего меха делают что-то теплое и что лучше носить одежду на их меху, чем отдавать им на съедение весь свой огород. То же и книги. Стоит повесить одну полку, чтобы они, как настурция, расползлись бы по всей стене, заняли шкап, другой, влезли на стол, под стол, на стулья, на подоконники и, наконец, прямо на пол и в каждый свободный угол.

Не прошло и пяти лет после свадьбы, как Ия Аркадьевна говорила:

— Нельзя ли часть их пожечь?

Давыд Давыдович испуганно поднимал на нее глаза.

— Июшка, господь с тобой! Да ведь тут столько редкостных экземпляров.

Она задумчиво смотрела на полки.

— А скажи,— с недоумением спрашивала она,— почему большинство их не разрезано?

— А я не люблю резать их. Вот отдам переплетчику, он принесет в переплете, тогда и прочту.

— У тебя сколько теперь номеров-то?

— Да за одиннадцатую тысячу перевалило.

— И все так и будет прибавляться?

— Надеюсь. Я уж тут присмотрел одну квартиру. Там можно будет над шкапами еще сделать два ряда стоек... А потом, почему бы три шкапа не поставить в столовую? Книги — лучшее украшение комнаты.

— Ты бы еще в залу поставил шкапы!

— А что же? Кому же они мешают по стенам? Горе, что перевелись добросовестные переплетчики.

Вот посмотри — вчера принесли: папка тонка, уголки не закруглены, на корешке «Хмѣльницкий» написано через ѣ, шнурочек для закладки ярко-красного цвета.

— Так что же, что ярко-красного?

— Ну, знаешь, у меня все синие или зеленые... А тут вдруг цвета бычьей крови...

* * *

Первая стычка у супругов из-за книг произошла на тринадцатом году их сожития. Перебирая по обыкновению вещи в письменном столе мужа и ища каких-нибудь противубрачных элементов, Ия Аркадьевна вдруг наткнулась на залоговое свидетельство: оказалось, что один из билетов выигрышного займа, принесенных ею в приданое, заложен в конторе какого-то Рубинштейна.

Быстрыми шагами подойдя к мужу, сидевшему, как дятел на дереве, на вершине складной лестницы, она поманила его вниз, а затем, суя ему в нос бумагу, ехидно спросила:

— Это что?

Хотя волосы Давыда Давыдовича уже давно серебрились на висках и он давно знал, что пятый десяток подходит к концу, тем не менее он густо покраснел.

— Это, Июша, я заложил... Я выкуплю. Получу праздничные и выкуплю.

— Зачем же ты скрыл от меня? Что за подлость!

— Я? Да что ты! Я и не думал... Ты видишь, бумажка так и лежит на виду... Я ведь знаю, что ты каждый день шаришь у меня.

Зарница далекой грозы мелькнула на ее челе.

— То есть, как это «шарю»? Тебе, Давыд, следовало бы быть осторожнее в выражениях.

— Да я уж, кажется, так осторожен...— пролепетал он.

— Зачем тебе понадобилось закладывать мое бедное приданое,— не унималась она.

Лицо его расползлось в блаженную детскую улыбку. Он нежно взял Иечку за руку и сказал:

— Не хотелось пропустить случая. Продавались недорого два издания... Полный Ровинский и Шекспир in folio. Я купил... У меня не хватило своих сбережений...

Он поцеловал женину ручку.

— У меня не хватило... Я и прихватил. Я не сказал тебе, знал, что ты браниться будешь...

Она сдвинула брови.

— Покажи это in folio.

Он вытащил толстенную книжицу и с торжеством отвернул покрытый ржавчиной ее титул.

— Да она грязна, как половая тряпка!— воскликнула Иечка.

— Грязна!— с восторгом повторил он.— Это грязь нескольких столетий... Быть может, она составляла украшение архиепископа Кентерберийского или принца Иоркского. А теперь — она у меня.

Он погладил рукой пятнистую бумагу и крепко прижал к груди телячью кожу переплета.

— Сколько же ты заплатил за эту рухлядь?— спросила она.

Он на минуту запнулся. Предательская мысль— солгать — мелькнула на мгновение. Но Давыд Давыдович никогда не лгал. И он взглянул детски-чистым взглядом на жену и назвал цифру.

В тот же миг звонкий, определенный звук пощечины раздался в комнате. Давыд Давыдович, пораженный, откинулся на спинку кресла.

— За что?— скорбно спросил он.

— За то!— послышалось в ответ,— за то, что у меня нет порядочного платья для театра; за то, что я не могу себе позволить на ужин подать гостям горячий ростбиф; за то, что мы живем в Новой Деревне на какой-то дырявой даче.

— Ийка, Ийка! Да ведь это Шекспир!— завопил он.

— А черт бы его подрал вместе с тобою!— крикнула она и ушла, стукнув дверью так, что с соседней полки посыпались брошюры и напомнили собою падение Штаубаха.

— За что?— повторил он, глядя ей вслед.

* * *

По мере того, как шли годы, между супругами поднималась целая сеть зарослей, разъединявшая их друг с другом. Это были книги.

Сначала они чинно стояли на полках, потом они стали жаться, давая соседям место. Одни легли, другие встали. Все плотнее и плотнее прижимались они друг к другу, протискиваясь в самую узенькую норку. Робко, осторожно, то в одиночку, то пачками, они рассыпались по комнате. С пола они доходили до подоконника, опасливо, осторожно перелезали на него и опять росли, заслоняя все нижнее стекло и вздымаясь все выше и выше. Когда потолок был ими поднят, они, как змея, перекидывали свое звено в соседнюю комнату. На этажерке появлялось десять книг, а в углу — ученый журнал за прошлый год. Потом под журналом снизу, точно выросший из полки, начинал зеленеть толстый том с изображением каких-то монет. Крохотные томики Вольтера странно приютились поверх и играли на солнце золочеными корешками, когда вечером дневное светило косым лучом целовало их. Затем сразу

появлялся шкап, и все книги, как крысы под звуки волшебной флейты, устремлялись на полки. По крайней мере, Ия Аркадьевна находила большое сходство их с крысами. Давыд Давыдович делал более реальное сравнение. Ему лежавшие на полу и подоконнике книги напоминали пассажиров, давно ждущих на улице попутного трамвая, и кидающихся опрометью занять свои места. Всем находилось место, если не внутри, то на крыше, и туго набитый шкап медленно покрывался сухою серо-желтою пылью.

Шкапы стал делать особый столяр, и с особой компактностью. Книги ложились в три ряда, и полки можно было передвигать как угодно. Чтобы с крыши они не падали, по бокам делались решеточки. В одно лето, когда Ия Аркадьевна лечилась в Липецке, а Давыд Давыдович не мог съездить даже на острова или на тони,— так он был занят своей книгой: «Влияние Гегеля, Фихте и Спенсера на русскую литературу»,— в это лето четыре безработных студента усердно составляли каталог библиотеки Давыда Давыдовича. Каждая книга записывалась дважды, на двух отдельных карточках: одни ставились по алфавиту авторов, другие — по алфавиту названия книг. Все это укладывалось в длинные стопочки и в виде серых удавов тянулось через стол. Ежедневно студенты выпивали по три самовара, но каталог подвигался медленно, и к тридцать первому августа было записано всего тридцать три тысячи названий.

— Тогда отложим до будущего лета,— согласился добродушно Давыд Давыдов,— а за зиму отдохните.

* * *

То, над чем много лет назад смеялась Ия Аркадьевна свершилось воочию. Шкапы доползли до гостиной. Временно это наводнение было задержано тем обстоятельством, что единственная дочь их вышла замуж и освободила свою девическую комнату. Отец очень торопил со свадьбой, и однажды ночью, мечтая о будущем благоустройстве, спросил у супруги:

— Июльчик, а наверно свадьба Ксюшечки не будет отложена?

— С чего это ты?— сонно протянула она.

— Да видишь, я думал в ее комнате специально поместить библиотеку по богословским вопросам.

— Вот полоумный маньяк!— воскликнула Июльчик и повернулась к нему спиною.

— Четыре шкапа в ряд,— мечтал он,— у окна — католическая церковь.

— Да дай ты мне хоть ночью покой!— закричала, наконец, нежная супруга, срывая с себя одеяло.— Ты не имел права на мне жениться. Такие, как ты, должны вечно оставаться холостяками...

— И девственниками!— вдруг прибавил он. Она этого не ожидала.

— Почему девственником?— спросила она, подумав.

— Женатый печется о жене...— несмело пробормотал он.

— Много ты пекся!

Комната Ксюшечки на другой день после ее свадьбы уже была туго набита, как дорожный чемодан, всевозможными книгами. Желая доставить удовольствие жене, Давыд Давыдович стал складывать туда же сочинения по масонству и оккультизму, а потом попало туда же исследо-

вание о происхождении петушиных боев, девятитомная астрономия, история игральных карт и прочее. На полу оставалась только узенькая дорожка для прохода, с боков же, как стены спеющей ржи, с каждым днем все возвышались и возвышались груды книг. Наконец, плотина прорвалась, и поток, минуя столовую и кабинет, хлынул прямо в залу.

Июльчик сперва заплакала. Потом примирилась со своей участью. Духовник ее сказал ей:

— Мужайтесь! Такие ли бедствия обрушиваются на человека!

И она стала мужаться. Она с безучастием смотрела, как поток книжной лавы превращал их жилище в Помпею. Стен уже давно не было видно; давно все забыли, какого цвета были в комнатах обои. Окна наполовину тоже были прикрыты баррикадами и скупо сверху пропускали свет. Подавая кушанья, горничная шагала через историю Голштинии. Вся прихожая была подперта книжными столбами, и на старые академические издания посетители клали пальто. Наконец, однажды Давыд Давыдович попросил управляющего домом к себе, долго держал его за руку и, наконец, произнес:

— Почтеннейший, позвольте мне на площадке лестницы поставить один шкапик с книгами. Он запирается на ключ и очень приличной работы; всего четыре аршина в вышину и три в ширину.

* * *

Здоровье его стало пошатываться. Явился кашель, хронический насморк. В пальцах появились какие-то спазмы, и перо стало прыгать и не слушаться руки. Печень почему-то раздулась, и вот в один прескверный весенний день к нему приехал старый гимназический товарищ, профессор медицины Брюкнер.

— Шестьдесят восемь лет — это весьма почтенный возраст,— сказал он.— И чтобы прожить еще лет пятнадцать, необходимо принять некоторые меры.

— Что ты называешь мерами?— хмуро спросил он.

— Ходить не менее четырех часов в день, пить воды, сесть на диету и ни о чем не думать.

— А главное — не читать своих дурацких книг!— подсказала Ия.

— Да, и меньше читать,— подтвердил медик.— Я тебя восстановлю — ты почувствуешь себя в первобытном состоянии. А иначе — плохо дело. За годик не поручусь.

Давыд Давыдович слегка побледнел и повел глазами по книгам.

— Вы понимаете, нас книги пожрали!— говорила Ия Аркадьевна.— Они нас выжили из квартиры. Здесь живут книги, а не мы.

— Да, я вижу, у тебя даже под постелью книги,— сказал доктор, заглядывая под его ложе.— Ведь это все портит воздух, заражает книжной пылью. Я бы тебе советовал продать половину или даже девять десятых библиотеки.

— Ведь мы нанимаем для них в тысячу семьсот рублей квартиру!— волновалась супруга.— А сами живем как в подвале, света божьего не видим, позвать никого не можем...

— Да-да... это все мы изменим,— сказал Брюкнер.— Я еду на воды сам и его возьму. Мы его восстановим. С осени для тебя начнется «эпоха Ренессанс».

* * *

И вот Давыда Давыдовича увез его школьный товарищ за несколько тысяч верст. Там его будили

в шесть часов. Читал он только газеты, да в киоске купил томик Мопассана, про которого много слышал. Мопассан ему показался поэтом людей со скудным кругозором, но он этого никому не сказал.

Раз он только взволновался: жена написала ему, что меняет квартиру, и что они от Аларчина переезжают к Чернышеву мосту... При этом она заявляла, что за перевозку одной его библиотеки перевозчик просит девяносто рублей, так как должно выйти возов десять. Волнение Давыда Давыдовича было таково, что он даже немедленно собрался в Петербург, но доктор его не пустил, а повез куда-то отдыхать.

Прошло время леченья, и он вернулся на лоно И Ия встретила его на вокзале и по дороге домой ласково говорила ему:

— Квартира — прелесть. Ты будешь доволен, милый,— не то, что Аларчинская тюрьма.

Она была в восторге от его здорового вида. Он бодро поднялся по роскошной лестнице во второй этаж. Он вошел в маленькую прихожую, в маленькую гостиную. Он стремительно кинулся в столовую, в спальню, в свой кабинет.

Один огромный шкап, родоначальник его библиотеки, стоял в его кабинете. Других шкапов не было.

— Где же книги?— спросил он, чувствуя, что нижняя челюсть отпадает.

— Продала с пуда!— торжественно заявила она.— Ни один букинист не давал ни гроша. Но посмотри, какой простор кругом! Мы можем сказать, как, помнишь, молодые на французской картинке,— «Enfin seuls»*.

* «Наконец, одни!» (*фр.*).

Ночью у Давыда Давыдовича был бред. Он, подобно Августу, требовавшему от Варра возвращения легионов, всю ночь говорил:

— Ииша, Ииша, отдай мне мои книги!..

Но они были проданы с пуда.

* * *

Около недели Давыд Давыдович бродил, как тень Гамлета, по окрестностям Чернышева моста. Вдруг гениальная мысль озарила его.

Он стоял против Публичной библиотеки. Он вспомнил, что директор — его старый приятель.

Через пять минут он сидел уже у него в кабинете.

— Да сделай одолжение,— говорил директор,— с десяти утра до закрытия библиотека к твоим услугам. Я велю поставить отдельный стол, в отдельной комнате — бери книги из всех отделений... Даже на дом, если хочешь...

Ииша после этого видела Давыда Давыдовича только от пяти до шести за обедом: остальное время он сидел в Публичной библиотеке и был занят новым трудом: «Как понял Стюарт Милль философию Вильяма Гамильтона».

1910 г.

САША ЧЕРНЫЙ

КРИТИКУ

Когда поэт, описывая даму,
Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет»,—
Здесь «я» не понимай, конечно, прямо,
Что, мол, под дамою скрывается поэт.
Я истину тебе по-дружески открою:

Поэт — мужчина. Даже с бородою.

1909 г.

ЛАМЕНТАЦИИ

Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать,
Пересматривать эстампы
И по клавишам бренчать,

Щекоча мозги и чувство
Обаяньем красоты,
Лить душистый мед искусства
В бездну русской пустоты...

В книгах жизнь широким пиром
Тешит всех своих гостей,
Окружая их гарниром
Из страданья и страстей:

Смех, борьба и перемены,
С мясом вырван каждый клок!
А у нас... углы да стены
И над нами потолок.

Но подчас, не веря мифам,
Так событий личных ждешь!
Заболеть бы, что ли, тифом,
Учинить бы, что ль, дебош?

В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.

На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг кривые спины
Мутноглазых Акулин.

Где событья *нашей* жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.

Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя.

И с утра до поздней ночи
Все, от крошек до старух,
Углубив в страницы очи,
Небывалым дразнят дух.

В звуках музыки — страданье,
Боль любви и шепот грез,
А вокруг одно мычанье,
Стоны, храп и посвист лоз.

Отчего? Молчи и дохни.
Рок — хозяин, ты — лишь раб.
Плюнь, ослепни и оглохни,
И ворочайся, как краб!

...Хорошо при свете лампы
Книжки милые читать.
Перелистывать эстампы
И на клавишах бренчать.

1909 г.

ЗЕРКАЛО

⟨...⟩ Каждый день, впиваясь в строчки,
Он глупеет и умнеет:
Если автор глуп — глупеет,
Если умница — умнеет. ⟨...⟩

1910 г.

ЧИТАТЕЛЬ

Я знаком по последней версии
С настроением Англии в Персии
И не менее точно знаком
С настроеньем поэта Кубышкина,
С каждой новой статьей Кочерыжкина
И с газетно-журнальным песком.

Словом, чтенья всегда в изобилии —
Недосуг прочитать лишь Вергилия,
Говорят: здоровенный талант!

Да еще б не мешало Горация —
Тоже был, говорят, не без грации...
А Шекспир, а Сенека, а Дант?

Утешаюсь одним лишь — к приятелям
(Чрезвычайно усердным читателям)
Как-то в клубе на днях я пристал:
«Кто читал Ювенала, Вергилия?»
Но, увы (умолчу о фамилиях),
Оказалось — никто не читал!

Перебрал и иных для забавы я:
Кто припомнил обложку, заглавие,
Кто цитату, а кто анекдот,
Имена переводчиков, критику...
Перешли вообще на пиитику —
И поехали. Пылкий народ!

Разобрали детально Кубышкина,
Том шестой и восьмой Кочерыжкина,
   Альманах «Обгорелый фитиль»,
Поворот к реализму Поплавкина
И значенье статьи Бородавкина
   «О влияньи желудка на стиль»...

Утешенье, конечно, большущее...
Но в душе есть сознанье сосущее,
   Что я сам до кончины своей,
Объедаясь трухой в изобилии,
Ни строки не прочту из Вергилия
   В суете моих пестреньких дней!

1911 г.

КНИГИ

   Есть бездонный ящик мира —
   От Гомера вплоть до нас.
   Чтоб узнать хотя б Шекспира,
   Надо год для умных глаз.
Кто осилит этот ящик? Лишних книг он не хранит.
Но ведь мы сейчас читаем всех, кто будет позабыт.
   Каждый день выходят книги:
   Драмы, повести, стихи —
   Напомаженные миги
   Из житейской чепухи.
Урываем на одежде, расстаемся с табаком
И любуемся на полке каждым новым корешком.
   Пыль грязнит пуды бумаги.
   Книги жмутся и растут.
   Вот они, антропофаги
   Человеческих минут!
Заполняют коридоры, спальни, сени, чердаки,
Подоконники и стулья, и столы, и сундуки.

Из двухсот нужна одна лишь —
Перероешь, не найдешь,
И на полки грузно свалишь
Драгоценное и ложь.
Мирно тлеющая каша фраз, заглавий и имен:
Резонерство, смех и глупость, нудный случай, яркий стон...
Ах, от чтенья сих консервов
Горе нашим головам!
Не хватает бедных нервов,
И чутье трещит по швам.
Переполненная память топит мысли в вихре слов...
Даже критики устали разбирать пуды узлов.
Всю читательскую лигу
Опросите: кто сейчас
Перечитывает книгу,
Как когда-то... много раз?
Перечтите, если сотни быстрой очереди ждут!
Написали — значит, надо. Уважайте всякий труд!
Можно ль в тысячном гареме
Всех красавиц полюбить?
Нет, нельзя. Зато со всеми
Можно мило пошалить.
Кто «Онегина» сегодня прочитает наизусть?
Рукавишников торопит «том двадцатый». Смех и грусть!
Кто меня за эти строки
Митрофаном назовет,
Понял соль их так глубоко,
Как хотя бы... кашалот.
Нам легко... Что будет дальше? Будут вместо городов
Неразрезанною массой мокнуть штабели томов.

1910 г.

В ТИПОГРАФИИ

Метранпаж октавой низкой
Оглушил ученика:
«Васька, дьявол, тискай, тискай!
Что валяешь дурака?
Рифмачу для корректуры надо оттиск отослать...»
Васька брюхом навалился на стальную рукоять.

У фальцовщиц тоже гонка —
Влажный лист шипит по швам,
Сочно-белые колонки
Набухают по столам.

Пальцы мчатся, локти ходят, тараторят языки,
Непрерывные движенья равномерны и легки.

А машины мягко мажут
Шрифт и вал и вал о вал,
Рычаги бесшумно вяжут
За овалами овал.

«Пуф, устала, пуф, шалею, наглоталась белых кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный, тонкий скрип.

У наборных касс молчанье.
Свисли груши-огоньки,
И свинец с тупым мерцаньем
Споро скачет из руки.

Прейскуранты, проза, вирши, каталоги и счета
Свеют нежную невинность белоснежного листа...

В грязных ботиках и в шубе
Арендатор фон-дер-Фалл,
Оттопыривая губы,
Глазки выпучил на вал.

Кто-то выдумал машины, народил для них людей,
Вылил буквы, сделал стены, окна, двери, пол.
Владей!

Пахнет терпким терпентином.
Под машинное туше
С липким чмоканьем змеиным
Ходит жирное клише.

Шрифт, штрихи, заказы, сказки, ложь и правда,
бред и гнус.
Мастер вдумчиво и грустно краску пробует на вкус.

В мертво-бешеной погоне
Лист ныряет за листом.
Ток гудит, машина стонет —
Слышишь в воздухе густом:

«Пуф, устала, пуф, шалею, слишком много белых
кип!»
Маховик жужжит и гонит однотонный, тонкий
скрип.

1910 г.

ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ

ЭТЮД

Он проснулся, повернулся —
Заскрипел матрас пружинный,
Зачадил фитиль лампадки, день в окно стучаться
стал,
Он проснулся, потянулся
И с презрительною миной
Стал читать, очки надевши, сатирический журнал.
Роем жутких превращений
По стенам блуждают тени,

Ходит маятник и стуком заполняет тишину...
За страницею страница —
Рот улыбкою кривится,
А уста невольно шепчут: «Ай да хлопцы! Ну и ну!..»
Вдруг он вздрогнул, полный гнева:
Всемогущий Магадэва!
Неужели?.. В самом деле!.. Полюбуйтесь!.. Вот скандал!
В неприкрашенной натуре
В листовой карикатуре
На странице предпоследней сам себя он увидал.
(Нигилисты-журналисты,
Хулиганы-портретисты!
Вы, бросающие камни, разве вы не без греха?)
В теплом стеганом халате
Безмятежно на кровати
Сладко дремлет обыватель, обрастая шерстью мха.
В глубине его алькова
Поясной портрет Баркова,
Под рукой на этажерке пестрых книг солидный ряд:
Сонник с ярмарки ирбитской,
Десять книг madame Вербицкой
И великий, многоликий, неизменный сыщик Нат!..
Вновь скрипит матрас пружинный...
И с усмешкою змеиной
Он с постели, возмущенный, огорченный, злобный, встал
И на корточках, у печки,
На вонючей, сальной свечке
Жжет, томимый острой местью, сатирический журнал!

1910 г.

А. Т. АВЕРЧЕНКО

ТРУДНОЕ ЗАГЛАВИЕ

Я хочу, собственно, написать о рассеянности.

То, что я напишу, будет для рассеянных людей вовсе не обидным, потому что они, по рассеянности, не прочтут этого.

Они вообще читают мало, а если возьмутся за журнал, то долго, в тоскливом недоумении, будут размышлять, почему какой-то чудак решил напечатать текст вверх ногами, забывая, что привести журнал в нормальный вид очень легко: стоит только перевернуть все издание головой кверху...

Для обыкновенных людей рассеянный человек чистое мучение: он надевает чужие калоши, иногда — новые — вместо своих, целует чужих жен, думая, что это его собственная, и всегда забудет то, что обещал, или то, что ему поручили сделать. Я не настолько рассеян, чтобы не перейти от абстрактных рассуждений к конкретному случаю. У меня есть такой. Самый нелепый. Именно— о поручениях.

Я стоял у прилавка книжного магазина, покупая какую-то книгу, когда вошел он — это несчастное растерянное существо, будто еще не успевшее оправиться от собственного рождения, существо, еще более жалкое от того, что оно делало вид человека крайне памятливого, уверенного в себе и сообразительного. Этот человек подошел ко мне и стремительно выпалил:

— Дайте мне книгу!

Я удивленно посмотрел на него и сказал:

— Я всего только покупатель.

— Отчего же вы стоите за прилавком?

— Я стою не за прилавком, а по сю сторону прилавка.

На него самая простая логика действовала мало. Он возразил:

— Так я, значит, должен пойти по ту сторону прилавка, и, в качестве покупателя, я буду по сю сторону, а вы, как противоположная сторона, по ту сторону, в качестве приказчика! Видите?

Он хитро прищурился, думая, что поставил меня в безвыходное положение, но в это время подошел настоящий приказчик и спросил его:

— Что прикажете?

Тогда этот глупец расплылся в широкую улыбку и сказал с видом полного удовлетворения:

— Да! Вот это настоящий!

— Что вам угодно?

— Дайте мне книгу!

— Какую?

По лицу его пробежала судорога мучительного усилия, и он смущенно выдавил из себя слова:

— Эту... самую...

— Как заглавие?

— Дело в том, что я... забыл заглавие! Я... это самое... может быть, вспомню.

Приказчику проще было предложить удивительному покупателю стул и оставить его вспоминать хотя бы до вечера, но эта книжная крыса обладала, очевидно, добрым сердцем.

— Вы, может быть, вспомните автора?

(После мы узнали, что автором была Бичер-Стоу, а книга называлась «Хижина дяди Тома».)

— Нет, автора мне едва ли уж вспомнить, но я твердо знаю, что главный герой — жгучий брюнет!

— Ну, это для книги не характерно... Мало ли мы встречаем в книгах жгучих брюнетов! Как его звали, по крайней мере?

— Его звали... позвольте, ей-богу, вспомнил! Его звали... Ах ты, боже мой! Это слово еще на обложке почти каждой книги написано...

— Выпуск?

— Э, к черту выпуск! Ну, судите сами: разве это мужское имя? Дайте мне... ну хотя бы полное собрание сочинений Тургенева!

Приказчик был в полном недоумении.

— Прикажете завернуть?

— Кого? Вы положительно невыносимы! Как же в завернутых книгах я найду это слово! Дайте любую... Ага! Вот эту.

Он торжествующе хлопнул ладонью по Тургеневу и воскликнул:

— Видите! Вот оно, это имя... так и героя звали!..

— Том 1? что же, он был король?

— Фу ты, наказание! Такой же, как я китаец! Кто вам сказал, что он король?

Он задумался и потом хлопнул себя ладонью по лбу (очевидно, вспомнивши о «хижине»).

— Да, я забыл! Он был этим... как его... Домовладельцем!

Приказчик тяжело дышал, и волосы у него прилипли ко лбу. Он стал язвителен.

— Скажите, не припомните вы, в какой части города стоял его дом? И доходный ли он? И аккуратно ли платят жильцы, черт их возьми! А? Отвечайте!

Этот человек не смутился, а утвердительно сказал:

— Этого не помню... Но он был чей-то родственник!

— Покажите мне портрет того негодяя, который не был бы чьим-то родственником! Какого черта толкуете вы там о родственниках?!

— Он был их дядя!

— Чей их?

— Их... вообще!..

Приказчик скрежетал зубами. Тогда я приблизился к нему и сказал:

— Я, кажется, понял его: требуется «Хижина дяди Тома». Дайте ему эту книгу и выбросьте его за дверь!

— Да, да! Так меня и дети просили: «Хижина дяди Тома».

Он с удивлением повторил эти три слова. Я гневно спросил его:

— Какого дьявола вы сразу не сказали, что Том — негр? Что это еще за жгучий брюнет?

Он ядовито подмигнул мне и ответил:

— Укажите мне тогда хотя бы одного негра, который был бы не брюнет, а жгучий блондин?!

И, забывши заплатить деньги, он, сияющий, вышел с книгой на улицу.

1908 г.

А. С. БУХОВ

ЛИЦО КНИГИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЛЫБКА

— У меня и в военное время очень хорошо идет беллетристика и юмористика. Только для того, чтобы книжка пошла сразу, нужно резкое название, бросающееся в глаза...

Из разговора с издателем

Когда собирается издать книгу серьезный человек, проработавший над ней четыре года, его меньше всего интересует ее название.

— Что же вы не написали заглавия,— раздраженно звонит кто-нибудь из типографии,— так же ведь нельзя, вы сами понимаете...

Серьезный человек удивленно смотрит в трубку, конфузится и пытается оправдаться.

— Да ведь это же и так ясно... Я думал, сами догадаетесь... Так и пишите: «Опыт исследования ящериц в Тургайской области. Издание первое». Год, там еще что-нибудь, а сбоку где-нибудь фамилию поставьте. Мою фамилию...

Положив трубку, серьезный человек не мучается сомнениями о том, не страшно ли заглавие. Он не встает в четыре часа ночи и не едет к издателю с предложением:

— Знаете что... А ведь это скучновато. Давайте лучше назовем: «Я и ящерицы».

Он не спрашивает знакомых по картам:

— Как вы думаете — заказать карикатурки к моей книжечке или так оставить?.. Другие ведь даже стихи вставляют. Может, и правда, куплеты вставить злободневные... А назвать: «Обозрение Тургайской области». В скобках ящериц можно вставить...

Серьезному человеку нужен такой же серьезный читатель, который, развернув книгу у себя на письменном столе, наденет очки, подумает с завистью и обидой...

— Это труд... где мне с моими исследованиями о японских мокрицах... Работать еще надо.

Для такого читателя нечего подыскивать заглавия.

Беллетрист относится к заглавию сдержанно, но с известным желанием провести читателя. Обычно он выбирает самый обычный из рассказов в будущей книге, который не испортишь уже никаким названием, и ставит его вперед.

— Почему вы назвали книгу «Скалой смерти»,— робко спрашивают его литературные приятели,— у вас в семнадцати рассказах никто даже не собирается умирать. В одном только тетка швейцара при смерти, да и о швейцаре-то два слова...

— А первый-то рассказ,— возмущается беллетрист,— так и называется...

— Кто же там скала,— удивляются беспокойные люди,— прачка сошлась с парикмахером, мужа надувает, а вы скала... И смерти нет...

— Ну что же, «Долина смерти» можно,— соглашается беллетрист,— это хорошо.

— И долины нет...

— Ввести можно. Парикмахер может жить в долине, а прачка на соседней улице. Одним словом, из-за ваших дурацких соображений я хорошее название бросать не намерен.

Через несколько дней, после усиленных настояний окружающих, он меняет название. Книга должна называться «Безумие слепцов». Так, по крайней мере, теперь называется тот же первый рассказ о прачке и парикмахере.

Проходя через несколько времени мимо книжного магазина, читатели останавливаются у окна в тихом недоумении.

— «Долина смерти»... Наверное, об индейцах,— хмуро решает студент, приехавший из провинции,— приключения какие-нибудь. Опять же скальпы...

— «Безумие слепцов»... Наверное, психиатр написал,— задумывается человек без денег,— люблю научное... Есть в нем что-то такое...

И совсем уже мученик — юморист, задумавший выпустить книгу.

Когда книжка составлена, юморист должен дать ей самое неожиданное название. Если все до

последнего рассказа посвящены сценической жизни, он должен назвать книгу: «Пуговица в уксусе»; если в книге под сатирическим бичом извивается скука жизни, книжка может иметь успех только под названием: «Веселые брюки».

— Это что же за название,— сухо говорит издатель,— «Рассказы о скучных людях»? Так исторические мемуары можно назвать... Пособие к изучению акушерских наук, прейскурант красок... Здесь нужно легкое, игривое название... Получайте обратно. Я своему делу не губитель.

— Я подыщу,— робко извиняется юморист,— это я так... Думал, что хорошо... Вы не сердитесь...

— А назови «Козел в прихожей»,— советует жена перед уходом в театр.— Это оригинально...

— Почему козел?— тупо спрашивает юморист,— у меня о козле и помину нет...

— Ну все-таки в прихожей... как будто он пришел, а его не пустили. Это эффектное название... Впрочем, я не настаиваю... Катя Порикова, с которой ты вчера по телефону два часа на трубке висел, может и лучше придумать...

— Да я что же... Я так...

— Назови «Бег в мешке»,— предлагает приятель при встрече.— Это весело.

— Так у меня же не спортивные рассказы...

— Это ничего. Впрочем, можешь «Случай с банкой» назвать. Это бытом пахнет.

— Это ты верно. Я запишу...

Художник, который рисует обложку книги, относится к названиям, придуманным юмористом, скептически.

— Что же я нарисую? Вот вы говорите: «Веселая печаль», хорошо... А я-то тут при чем? Разве черной краской капнуть на серое — может, это и печально выйдет... Что вам стоит —

назовите «Розы и мимозы». В одном уголке розу нарисую, в другом мимозу, а в середке можно сигару с дымом. Непонятно и весело...

Тяжесть жизни ложится на плечи юмориста. Несколько мгновений у него даже рождается мысль идти напролом и назвать книгу открыто и честно:

— Тридцать четыре скверных рассказа, неосторожно купленных г. издателем. Издание первое и последнее. 1915 г.

Потом появляется непобедимое желание украсть название.

Как и всегда в этих случаях, попадается под руки самое ненужное. Назвать книжку «Капитанской дочкой» — неудобно, «Преступлением и наказанием» — слишком тяжело для веселой книги.

Когда книжка появляется в продаже, критики больших газет сразу одобряют название.

— Название «Сломанные стулья» метко определяет книгу, если хоть один из этих стульев был изломан о голову автора,— радостно отзывается одна из газет.

Другая не менее искренно поддерживает юмориста:

— «Кривой глаз» — так назвал автор свою первую книгу. «Оторванное ухо» — назовет он свою вторую книгу после первого свидания с читателями...

Когда первое издание цинично остается непроданным и медленно разлагается на свои составные части в книжных складах, юморист потихоньку от знакомых меняет обложку и дает новое название.

— Похлеще надо,— уныло думает он,— «Бойкие тюлени» — это уж слишком скромно... Народничеством пахнет, политикой... Тут что-нибудь

порезвее надо, игривее. Назову «Собачий укус»... И литературнее, и ярче...

1915 г.

КНИГИ

⟨...⟩ Сотни умных людей не могут так перевернуть душу, как одна нежная и умная книга.

В моем представлении книги — те же люди.

Вот книга-инженер, с мягким голосом и хорошим заработком. В волосах его приятная седина; он чисто одевается, у него жена полная красивая брюнетка, которая заботится о нем и его двух детях. Когда-то он бродил по улицам и искал случайных встреч, потому что бурлила душа от одиночества; потом писал рефераты, горячо спорил. Теперь все это ушло. Он сделался добрым человеком, хорошо обращается со служащими, спорит в кабинете правления о прибавке мелким конторщикам и учит семилетнего братишку горничной.

Но инженер забыл что-то сказать. Он забыл цветы, забыл малиновую кофточку, мелькнувшую в зелени сада; забыл, как он вскакивал с постели и долго ходил по комнате только потому, что невдалеке играл какой-то провинциальный оркестр вальс. Он забыл, как он смотрел через окно в небо и, сжимая кулаки, клялся отказаться от бога за то, что он голоден; над ним смеялась в глаза девушка с длинными и нежными пальцами и розоватой шеей, а он потом бежал к церкви и в мучительном страхе крестился на старую потемневшую икону.

Такая книга-инженер — большой бытовой роман. Кто-то неглупый и умеющий писать сел и описал жизнь шести человек, спаянных одним

помещением и стремлением сойтись в этом помещении или убежать из него. Все умело, правдоподобно и похоже на жизнь. Каждый человек из романа — налицо. Говорит, что нужно. Делает, что нужно...

И все это точно рассказ о неблизких родных, который выслушиваешь без напряжения, но только для того, чтобы забыть его через неделю. Это не паутина, плавающая по воздуху и сплетающаяся в небывалые узоры, а нитка на бумагопрядильной фабрике, идущая по желобкам и челнокам... Паутину разовьет ветер: любуйся ее узором и запомни. А нитка не перервется — пущенная опытными руками по желобкам новейшей конструкции машины, она тянется, тянется, длинная, робкая, уверенная в своем приходе до стальной вертелки, сматывающей ее в катушку.

Меня не волнуют эти книги-инженеры. Я рекомендую их знакомым, когда меня просят почитать.

— Только мне не ерунду, а так что-нибудь.

— Возьмите эту книгу! Хорошая.

И странно, что такую книгу даже возвращают. Не как ту, которую вы любите и которую, унося от вас, не читают, а продержав у себя полгода, передают по ошибке другому.

Меня эти книги не заставляют что-нибудь переживать. Неоплодотворяющие книги.

Такую книгу можно написать... Если бы у меня не болела спина, не было бы головных болей и можно бы месяца три отдохнуть, я написал бы такую.

Это так же обидно, как сказать какому-нибудь любителю о его хрустальной вазочке:

— Ах, эта... А у меня было несколько штук таких, да я раздарил... Вид очень дешевый. ⟨...⟩

* * *

Все уехали... Праздничный день; на улице солнце, тепло...

— И великолепно, что никого нет. По крайней мере, поработаю, почитаю, полежу — поленюсь.

И вдруг звонок у дверей. Отворяешь с недоверием — наверное, кто-нибудь ошибся квартирой. Кто же может приехать сейчас?

— Ты дома? Вот не думал, что застану...

— Боже мой, да это ты... Вот хорошо-то сделал, что пришел...

Милый старый приятель. Вас почему-то отдалила от него жизнь; вы переехали на другой конец города, ездить друг к другу далеко. Даже не встречались на улице... Но прежняя дружба осталась. И вот сейчас начнутся разговоры о каких-то общих Мишках и Николаях Ивановичах, о знаменитой ступеньке, о которую все спотыкались, о привычках старой квартирной хозяйки...

Все настроение разом меняется. День уже не кажется таким требующим выхода на улицу. Шлепая туфлями, вы сами бегаете на кухню подогревать чай, роетесь в буфете, разыскивая что-нибудь сладкое к чаю... Долго тянется мягкая беседа, и вам почему-то бесконечно милыми кажутся лицо, и каждое простое слово, и шутка человека, пришедшего посидеть и вспомнить старое...

Таких старых товарищей-книг немного. Чаще всего такую книгу можно купить у букиниста. Роешься в сваленных грудах бесплатных приложений или полуоборванных книжонок без переплетов, в крайнем случае, с одной корочкой, покупаешь ее на всякий случай, приносишь домой и почти забываешь ее в ежедневной сутолоке. А когда становится мутно на душе, возьмешь ее из шкафа и долго еще не решаешься читать.

— Стоит ли?

Начнешь читать, вчитываешься и не оторвешься три-четыре часа.

Такие книги у Диккенса, у старого рубахи-парня Твена и немного сентиментального от усталости ума Джерома. На каждой странице какая-нибудь строчка заставляет на секунду оторваться от книги и улыбнуться ласковой улыбкой. И когда дочитаешь книгу, кажется, что закрыл дверь за кем-то, с кем сжился и кто уезжает, может быть, навсегда.

* * *

Есть книги — как дворовый скандал. Нет ничего интересного в том, что дворник завел драку и крупную ругань с возчиком, выкладывающим у забора двора. Изо всех окон высовываются горничные, по черным лестницам шепот любопытных. И сам почему-то высовываешься из окна. Забываешь об этом через две минуты, но все-таки остаются в памяти фигуры двух освирепевших людей — с поленьями в руках.

Такие книги — разоблачения. Выгнанный жулик разоблачает тайны цирковой борьбы. Неудачный журналист разоблачает конторские тайны газеты, в которой он не смог устроиться работать. Обозленный, не отдохнувший летом чиновник под псевдонимом разоблачает свой департамент. Кажется, нет никакого дела до всего этого, а хватаешь книжку и читаешь... Разве легко не прислушаться к тому крику на дворе, по поводу которого такой топот по черной лестнице.

* * *

Есть книги — старые девы из богатых семейств, начинающие подчитываться и эксцентричничать

от безнадежности в области брака. Это книги новелл, лирических миниатюр и символических пьес. Их никто не читает целиком. Обидно разрезывают в средине и забывают вместе с разрезным ножом на ночном столике.

— Где это у меня нож?.. Вы не видели? Кажется, что я оставил его в какой-то книге, а какой — не помню.

Совсем, как о тех старых девах:

— Да, и Стеблицкая была, кажется, неглупая, только манерная уж очень. У ней, между прочим, такие же серьги, как у Нины. Вы давно Нину не видели?

* * *

По-моему, каждому типу человека есть параллельная книга.

Вот родственник, приехавший погостить и которого не только нельзя выжить, но еще надо с ним возиться,— толстый роман классика, о котором было кем-то с укором сказано: такую книгу надо знать, батенька...

Надоедливый юноша, сын бывшего квартирного хозяина, робкий, но упорный в своих разговорах о красоте природы и необходимости одиночества,— томик лирических стихов неудачного, но грамотного поэта...

* * *

Но книги лучше людей. Их можно захлопнуть и бросить. Ах, если бы можно было подходить к разным умным циникам и веселым тупицам и захлопывать их, как книги, для того, чтобы, втиснув среди других книг в шкаф, забыть их. Этого нельзя. Люди мало дают, но много требуют.

Книги дают много и требуют так мало: способности думать и чувствовать.

1916 г.

С. Р. МИНЦЛОВ

ЗА МЕРТВЫМИ ДУШАМИ

Собирать книги и предметы старины так, как это делается всеми нашими любителями,— неинтересно.

Газетные объявления, аукционы, антикварные магазины — вот все источники, из которых черпают они свои приобретения. Путь дорогой, не всякому доступный и суженный до последних пределов; в нем нет творчества, это путь бар, привыкших, чтобы жареные рябчики сами валились им в рот.

Между тем, Россия была полна оазисов, где в тиши и глуши таились такие сокровища, какие весьма редко можно встретить на рынке. А так как не гора пошла к Магомету, а Магомет к горе, то в один августовский вечер я сел в вагон, и он понес меня в глубину России.

Через день, в сумерках, когда поезд, не признающий, по обыкновению, на боковых линиях таких пустяков, как расписание, с большим опозданием дотащил меня до станции Ельня.

Моросил дождь; на пустынном перроне одиноко стояла длинная тощая фигура не то Гамлета, не то Мефистофеля в черном кургузом плаще до талии и в черной шляпе с широченными полями. До полного сходства ей не хватало только шпаги и пера на голове.

Это был Ченников, мой приятель, с имения которого я решил начать свое путешествие. ⟨...⟩

Ченников вытребовал к себе некоего Мирона — рябого и невзрачного белобрысого мужичонку, занимавшегося извозом, и сам договорился с ним о дальнейшем моем путешествии, причем подробнейшим образом перечислил все имения, куда тот должен был меня завезти и на какую станцию железной дороги затем доставить.

Торг закончился к общему удовольствию, и Мирон побежал запрягать.

...Через несколько минут, звеня и бренча всеми железными частями, вкатилась запряженная парой лопоухих белых лошадок старая бричка, с кожаным порыжелым и рваным сиденьем. Я уложил свои вещи, уселся, Мирон задергал вожжами, и мы среди бесновавшихся собак проехали немного по улице и свернули в проулок; кругом открылись желтые сжатые поля с темными линиями лесов на горизонте.

Мирон повернулся в полуоборот ко мне. Голубые глазки его внимательно осмотрели меня, словно взвесили, от сапогов до шляпы.

— К Батенькову едете?— проговорил он.— Знакомые, что ли?

— Нет, по делу.

— Вот оно что!.. Овес, стало быть, покупать у него?.. Хороши овсы у него стояли — во, истинный бог!— Мирон показал аршина на два от земли.— По купецкой части, стало быть, будете?

— По купецкой. А кто такой этот Батеньков?

— Батеньков-то?.. Барин. Барин как есть, по всей форме!— с убеждением ответил Мирон.

— Молодой или старый?

— Молодой. Годов двадцать два ему; опеку года два как сняли; померли родители у него!— Мирон захихикал и закрутил носом.— И прокурат же!— добавил,— как это приедет из Питера

с приятелями — киятры в дому, пиры горой... веселый!

— Далеко до его имения?

— До Вихровки-то? Пятнадцать верстов, вот сколько!— он глянул на солнце, стоявшее уже довольно высоко:— в шесть часов на месте будем.

Расчет моего возницы оказался математическим: ровно в шесть часов дня мы точно по коридору из стриженой акации въехали в просторный двор. Справа густой стеной стоял сад, слева, описывая широкий полукруг, отходила строго вытянутая линия хозяйственных строений. Из гущи сада из-за кустов сирени блестели стекла мезонина барского дома.

Против него, между двух старых яблонь, одиноко росших на самой середине двора, бледно горели два костра; кругом них стояло четверо людей, помешивавших что-то в огне палками. Тут же находились две большие бельевые корзины, наполненные разноцветными бумагами. Завидев нас, все оставили свое дело и повернулись в нашу сторону.

— Купца привез к тебе, Петра Иваныч!— прокричал Мирон, подъехав к кострам.— Весь овес заберем.

Бричка остановилась, я слез.

— Могу я видеть г. Батенькова?— осведомился я у человека средних лет, сделавшего несколько шагов навстречу мне. Одет он был в синюю русскую рубаху, подпоясанную ремнем, в пиджаке и в высоких сапогах. По всей фигуре сразу можно было заключить, что перед вами приказчик; весь он был настороженный, строгий и вместе с тем готовый сейчас же стать слаще акрид и меда.

— Барин в Петербурге...— слегка свысока ответил он,— чем могу служить?

В эту минуту из-за его спины взвились две книги и, растопырив листы, как крылья, шлепнулись в огонь.

— Что это вы тут делаете?— спросил я вместо ответа и поспешил к корзинам. Обе они верхом были нагружены книгами, книги же горели вместо дров в кострах.

— Очисточку производим... — снисходительно пояснил приказчик,—дрянь всякую барин велел посжечь!

Появилось еще двое людей, приволокших новую корзину с книгами.

— Ради бога, подождите, не жгите!— воскликнул я.— Дайте сперва мне пересмотреть, может быть, я куплю их у вас?

— Пожалуйста... только смотреть не на что: одно лохмотье!.. А вам по какому делу желательно было видеть барина?

— По личному. Ах, как жаль, что его нет; нарочно ведь к нему приехал!

— Откуда изволили прибыть?

— Из Питера.

Строгая официальность исчезла с лица приказчика: персона превратилась в лакея. Он засуетился.

— Пожалуйте в дом-с!..—совсем иным тоном заговорил он,—отдохните-с...

— Но ведь нет барина?— усомнился я.

— Так что же-с? Да они меня со свету сживут, ежели узнают, что я приезжего к ним не принял. Пожалуйте-с!.. Бери, разиня, вещи, неси в дом!.. Прынец тоже!— крикнул он на облеченного в белый передник долговязого малого, уставившегося на меня, как в столбняке.

Тот очнулся, ухватил мой багаж и стремглав побежал с ним вперед. Несмотря на уговоры

приказчика, собиравшегося для моего удобства отослать корзины обратно в дом, я остался у костров и пересмотрел все, приговоренное аутодафе.

Это были, главным образом, журналы: «Москвитянин», «Современник» и другие, но среди них попались мне снегиревские: «Русские в своих пословицах» и «Простонародные праздники и суеверные обряды», изданные в сороковых годах.

— Обидно, что разминулись вы с барином!..— соболезновал тем временем и приказчик,— всего только третьеводни изволили они отбыть, досадовать будут!

Неся отобранные мною книги, мы направились к дому.

От двора его отделяла длинная овальная куртина, засаженная жасминами и сиренью; свежепосыпанная песком дорога огибала ее и проходила мимо подъезда. Дом был большой, темно-серый, еще александровской стройки, с обычными белыми колоннами той эпохи.

Мне показалось, что я где-то в окрестностях Петербурга: в такой чистоте и порядке все содержалось, начиная с подстриженных шпалер из акаций и кончая массивными ручками входных дверей...

Я не мог удержаться и, остановившись перед домом, вслух похвалил порядок, в котором все содержалось.

Приказчик был чрезвычайно польщен.

— Чистота у нас первое дело-с!—ответил он.— И сам барин с утра выйдут, как стеклышко, и с других того же требует. Нельзя иначе: Европа-с!

Дверь подъезда стояла распахнутой; ее почтительно поддерживал долговязый малый в переднике, очевидно состоявший в лакейской должности. Плетенная из веревки, серая дорожка

покрывала несколько ступеней лестницы и вестибюль; мы вошли в обширную лакейскую, обставленную кругом деревянными диванами, на которых когда-то сидели и дулись в носки поколения лакеев. Она была пустынна.

Малый в переднике очутился впереди нас и распахнул, как на сцене для входа короля, переднюю дверь. Мы вошли в похожую на коридор, довольно узкую комнату, всю увешанную портретами. Кое-где у стен стояли небольшие столы из карельской березы, а по бокам их, попарно, такие же стулья с твердыми, как кирпичи, небесно-голубыми сиденьями и спинками.

— Патретная-с...— словно по секрету пояснил приказчик; в доме он, должно быть, по привычке, стал объясняться вполголоса.

Со всех сторон, из потускнелых золоченых рам — этих окон с того света, на меня глядели напыщенные лица рода Батеньковых. Пудреные парики и разноцветные кафтаны указывали на елизаветинскую и екатерининскую эпохи. Выточенные груди многих украшали ордена и звезды.

— Все в рыгалиях-с!..— благоговейно произнес мой спутник,—заслужить тоже надо было-с!.. А вот это папаши нашего нонешнего барина, Владимира Григорьича...—он остановился перед портретом благодушного, тучного старика, одетого в простой черный пиджак,— скончались шесть годов назад, и как необыкновенно — на антресолях библиотека существует, а в ней диван турецкий замечательный-с: лошадь на нем поперек уложить можно! Григорий Михайлович — это они-с,— он осторожно лбом указал на портрет,— очень этот диван после обеда обожали. Велят завести грам-

мофон, возьмут в руки книжку и лягут-с. А граммофон им для лучшего сну играет да играет — особый человек для заводу его состоял; ровно час должен был играть! Только однажды легли они, отыграл им граммофон все, что полагается, стал их человек будить, ан в них уже и дыханья нет: отошли... Так все и осталось там наверху; молодой барин и к граммофону ни разу не коснулись, даже нота на нем лежит та самая, под которую Григорий Михайлыч скончались... Не узнать человеку назначения своего!—вздохнув, философски добавил мой спутник...

Приказчик вышел, и вместо него появился тот же малый с белым полотенцем в руке, с тазом и кувшином воды.

— Как вас зовут?— спросил я, разоблачаясь.

— Гамлетом-с,— ответил он.

— Как?

— Гамлетом-с,— повторил тот, переступил с ноги на ногу, потупился и принял позу жеманной горничной.— Схож я очень с этим прынцем-с, барин и приказали так зваться!—скромно пояснил он...

Только что я успел вымыться и одеться, вошел приказчик.

— Сейчас самоварчик поспеет!..—сообщил он мне,—уж извините, не ждали вас, так кроме яичницы и цыпленка не сообразил ничего повар!

— И великолепно!—ответил я.—А пока до самовара вы, может быть, покажете мне библиотеку?

— С великим удовольствием-с!

Комната за комнатой мы обошли весь низ дома; он оказался музеем старинной мебели, нельзя сказать, чтобы роскошной, но все же стильной и выдержанной. Преобладал ампир, но что удиви-

ло меня,— ни безделушек, ни бронзы, ни часов, кроме виденного мною уже амура, в доме не имелось.

Я высказал свою мысль приказчику.

— Полно всего этого было!— ответил он,— опекли только все вчистую. Двое опекунов ведь было, возьмите это в соображение-с!

Мы очутились перед широкой деревянной лестницей, ведшей на площадку, а оттуда делавшей обратный поворот на антресоли. Ее огораживала дубовая балюстрада.

Мы взошли наверх и, миновав какую-то почти совершенно пустую комнату, вступили в святая святых.

Первое, что мне бросилось в глаза, было действительно необыкновенных размеров сооружение с высоченною спинкой, стоявшее у противоположной стены и более походившее на разрубленный пополам Ноев ковчег, чем на диван.

Три окна, полузакрытые тяжелыми портьерами из пестрой ковровой ткани, пропускали свет на правую стену; всю ее закрывали ряды книг, расставленных на открытых полках; между окнами, у среднего простенка, умещался круглый столик с граммофоном на нем; по бокам возвышались два готических кресла, обитые, как и диван, ковровой тканью. Среди книг царил хаос: местами они лежали кучами, многие были растрепаны и не переплетены. У полок стояла бельевая корзина, наполненная ими же.

— Вы это все намерены сжечь?— с ужасом спросил я приказчика, указывая на полки.

— Зачем же все-с?— ответил он,— только что без переплетов, то приказали барин изничтожить! Извольте сами видеть — срамота ведь, лавочка на толкучке, а не как в Европе-с!

— Значит, можно будет отобрать у вас кое-что из того, что без переплетов?

— Да хоть все заберите-с — для нас одно удовольствие! И эту дубину сожгем!— угрожающе добавил он, видя, что я снял с полки одну из лежавших поперек нее книг большого формата.— Хоть и в переплете, а никуда не входит! Что не под ранжир, все, значит, приказали барин похерить!

— Да сам-то он пересматривал книги?

Приказчик даже как будто обиделся.

— Что вы-с? До этого они, извините, не доходят-с! Они что стеклышко всегда, а тут, изволите видеть, что—разврат-с. Мне приказано: «На эти книжки,— изволили они сказать-с,— только смотреть возможно, а читать их немысленно-с!» А вот не угодно ли взглянуть на диван: книжечка кожаная на подушках лежит, та самая-с, что покойный барин в ручках перед сном держивали... Чтобы не соврать, годов двадцать здесь ее помню!

Я развернул ее: то было туманное «английское творение» Юнга: «Плач, или Нощные мысли о жизни, смерти и бессмертии», изданное в Петербурге в 1799 году.

— Каждый день он ее читал?—удивился я.

— Нет-с... в ручках только держали, для сну, я полагаю-с! Однако, самовар, надо быть, уже на столе; пожалуйте откушать сперва, а потом, коли вам в охоту с книжками разбираться, воротиться сюда можно-с!

Мы сошли вниз, в сплошь отделанную темным дубом длинную столовую. Резной великолепный буфет, словно монумент, вздымался в глубине ее. На овальном столе, покрытом белой скатертью, пускал пары никелированный самовар, имевший

вид вазы... Мгновенно, с той же стороны, откуда мы вошли, вывернулся Гамлет с подносом в руке, на котором помещались тарелка с яичницей и маленькое блюдо с цыпленком... Гамлет стоял, как в столбняке, раскрыв рот и не сводя с нас немигающих белесоватых глаз.

Приказчик покосился в его сторону.

— Пшол вон!—вполголоса, внушительно произнес он. Малый встрепенулся и пропал в мгновение ока.

— Уж вы извините, совсем он дурашный!— обратился ко мне приказчик,— уткнется вот эдак в кого-нибудь глазами — до утра, выпучившись, простоять может.

— А почему его Гамлетом зовут?

— А вы уж знаете-с? Да ведь как же не Гамлет, глуп он очень!—приказчик вдруг тряхнул головой и усмехнулся.—Барин, конечно, все это произвели: киятер со скуки на Рождестве затеяли. Этого самого Ваньку в Гамлеты поставили, а Глафиру, горничную, в Офелии. С тех пор их так все и кличут-с! 〈...〉

После третьего стакана я поднялся и снова отправился в библиотечную продолжать пересмотр книг. Раскрасневшийся, с блестящими глазами, Петр Иванович, переместивший в свою утробу больше полуграфина рома, увязался за мной. Шел он на этот раз без прежней почтительности, крепко ступал на каблук и разговаривал отнюдь не вполголоса. Частица «с», уснащавшая его речь до чая, была им забыта.

Спутником на этот раз он оказался довольно неприятным, так как все время разглагольствовал и отвлекал меня своей болтовней от дела. Я не слушал и лишь изредка подавал ему краткие реплики.

Пересматривал я только книги без переплетов и наткнулся среди них на значительное количество весьма любопытных. Среди таковых имелись: изданная в очень малом количестве экземпляров в 1872 году в Варшаве «Наша семейная летопись» Авенариусов, очень редкие воспоминания Бурнашева, путешествия в Нижний и в Киев Долгорукого и другие. И вдруг глаза мои наткнулись на две старинные, едва затиснутые на полку книги в четверку, с полустертыми натисками на корешках—«Житие и славные дела Петра Великого».

У меня екнуло сердце.

— Неужто это Феодози? неужто венецианское издание?!—думал я, с усилием высвобождая большие томы. Наконец, я вытащил один и развернул: оно и есть. С титульного листа на меня глянуло: «Венеция 1772 года».

— А эти будете жечь?—спросил я не своим голосом.

Приказчик сидел, развалившись в кресле.

— Эту?—тоном судьи произнес он, принимая от меня книгу и взвешивая ее на руке.— Будем!

— Значит, я могу их взять?

— Всенепременно!..

Я еще не верил своему счастью.

— Наверное, сожгли бы, правда?

— Не утруждайте себя беспокойством!—небрежно ответил он.—Есть о чем разговор иметь.

Я молча отложил драгоценные книги к кучке уже отобранных мной. Немного погодя опять попалась переплетенная книжка, тоненькая и большого размера. Я раскрыл ее. Это были письма царевича Алексея Петровича, увидавшие свет в Одессе в 1849 году.

— Эта тоже не под ранжир,—уже смело заявил я, показывая свою находку.

— Крысиная снедь... в печку! И охота вам соприкасаться, ей-богу, пылища, паутина!..

Я присоединил ее к своим.

Становилось уже темно и приходилось отложить окончание моей ревизии до утра.

Приказчик, несмотря на все мои протесты, забрал в охапку все отложенные мной книги и сам понес их.

— Уж и не знаю, как благодарить вас!— сказал я, идя с ним по залу.—Такие это все интересные книги, что и сказать не могу! я и не видал никогда даже некоторых!..

— Помилуйте, что вы?!—воскликнул приказчик,—дерьма они стоют! Для вас оно, конечно, лестно, а для нашего барина—тьфу! Эдакую Азию в доме развели — до невозможности! В два дни велено, чтобы все это как стеклышко было... Как по ниточке выровнять!

В моей комнате Петр Иванович ссыпал на диван всю ношу, обтряхнулся и подал мне руку с растопыренными пальцами.

— Теперь до свиданьица!—произнес он.— Спокойной вам ночи! А мне еще распорядиться кое-чем надо.

Я остался один со своими спасенными от огня сокровищами. Верите ли, читатель, схватил я оба старые, чуть тронутые червем тома Феодози, прижал их к груди и сочно отчмокал их,—такая радость, такой восторг наполняли меня! День выпал необыкновенно удачный: редких книг и сильных впечатлений набралось множество...

Я разделся, еще раз пересмотрел книги и с чувством полного удовлетворения задул свечу и

растянулся на прохладной белоснежной простыне. Но сна не было. Напрасно я ворочался с боку на бок на мягком пружинном диване: мысль продолжала оставаться наверху, у неведомых еще книг, и искала там новые драгоценности. ⟨...⟩

Утром в столовой меня поджидал Гамлет. Бабочка его была уже прилизана и на лице отражалось полное самодовольствие.

— Готово-с... все книжки у вас!— произнес он.

— Сами принесли?

— Сами-с, конечно!.. Кому ж поручить! Народ необразованный-с!

Не больше, чем через четверть часа появился в запыленных сапогах и в раскинутом темно-синем кафтане приказчик; в руках его были картуз и нагайка — видимо, человек только что успел спрыгнуть с седла.

— Здравия желаю-с!— весело произнес он.— Как изволили почивать?

— Отлично, спасибо!— ответил я, протягивая ему руку. Он пожал ее с меньшей развязностью, чем накануне.— Собираюсь сейчас уезжать, так хотелось проститься с вами!

— Что же так мало погостили-с? Поживите еще?

— Никак нельзя: дела ждут. А я без вас докончил досмотр книг, так будьте добры взглянуть, могу ли я их все взять?

— Все и берите...

— А это, пожалуйста, вашему барину передайте,— достал я свою визитную карточку.— Скажите ему, что очень сожалею, что не удалось повидать его.

— Беспременно-с... все передам!

— Можно будет попросить вас послать сыскать моего Мирона и велеть ему запрягать? Да, кстати, не найдется ли у вас веревочки, книги перевязать?

— Сию секунду все будет!

Он ушел и прислал Гамлета с куском толстой бечевки. Я бережно, сам, не доверяя рукам «принца», могшим в пылу усердия затянуть книги до пореза полей, перевязал их. Вышло пять больших пачек, всего пудов на шесть весом.

Гамлет ухитрился захватить три связки, Глаша две, и я забрал остальные вещи, и мы вышли на подъезд. Лопоухие белячки уже ожидали меня. Петр Иванович и Мирон стояли и беседовали около них.

Возница мой, открыв рот, обозрел пачки с книгами, которые Гамлет принялся размещать в бричке, затем влез на козлы. Я дал Глаше и Гамлету на чай; первая осветилась улыбкой, второй низко раскланялся. Приказчику я пожал руку и, как архиерей, бережно подсаживаемый под ручку Гамлетом, устроился на сиденье.

— Доброго пути!— проводил меня хор из трех голосов.

— Прощевайте, Петра Иваныч!— крикнул Мирон, и мы выкатились на двор.

Там уже опять действовала инквизиция: какой-то молодой парень вилами ворошил плохо горевшие книги.

— Фиверки!—вскрикивал он, подбрасывая высоко на воздух кучи пылавших листов.

Сад закрыл дом, потянулись шпалеры из акаций, показались четырехугольные каменные столбы ворот, и мы очутились в поле.

— Ты это что же — купил?— спросил Мирон, указывая на книги.

В тоне его ни прежней почтительности, ни заискивания не было и в помине.

— Купил,— отозвался я.

— А сказывал, овес покупать едешь?

— Это, брат, ты сказывал, а не я!— поправил я.

— Ну? А хоть бы и я: на дело ведь надоумливал! Дешево бы взял! А ты ишь чего набрал!..— Мирон неодобрительно покачал головой.— То-то, думал я, жидок ты для купца!

Некоторое время мы ехали молча.

— На что тебе книжки-то?— заговорил опять Мирон. Мысль о них, видимо, не давала ему покоя.

— Читать.

— Этакую уймищу? Это, брат, зачитаешься! Он опять качнул головой и собрал рот в виде комка.

— А пачпорт-то у тебя есть?— вдруг строго спросил он.

— А тебе на что?

— Да бог же тебя знает, кто ты такой? Может, тебя не возить, а по начальству я представить должен? Один вот возил такого же у нас по уезду с книжками, да до острога и довозился!..

У меня было необыкновенно весело на душе; забавен был и мой встревожившийся возница; если бы я вез тигра, вероятно, он был бы обеспокоен гораздо меньше.

— Не сумлевайся,— в тон ответил я ему,— и паспорт есть, и бумагу особую на разъезды имею от начальства!..

— С печатью?

— С орлом даже!

Мирон просиял.

— Ну, тогда дело свято!— воскликнул он.—

А уж я было высаживать тебя хотел, ей-богу! Долго ли до греха: сейчас тебя урядник за хвост, и пожалуйте! По-настоящему, как я понимаю, все книжки собрать да в землю зарыть следовает: один вред от них! Живет человек как человек, можно сказать, хозяйственный, а почитает книжку — и шабаш: сейчас коней воровать либо пьянствовать почнет! На что ты их, скажи на милость, скупаешь?

— Не одни книжки, я всякую старину собираю: тарелки, чашки фарфоровые, серебро — все, что придется...

— Ну, так, так, так!— совсем успокоившись, сказал Мирон.— Это ничего, это дозволяется! 〈...〉

1921 г.



СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ?

ИЗ СОВЕТСКОЙ „БИБЛИОСАТИРЫ“

Читатель, снизу или сверху
Ты за моей следишь строкой,
Ты тоже всякий на поверку
Бываешь-мало ли какой...

А.Т. Твардовский

И. Э. БАБЕЛЬ

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

То, что это царство книги, чувствуешь сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни, и сами как бы сделались отражением живых, настоящих людей.

Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так — нечто среднее.

Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, не приметен и завуалированно сумрачен.

Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Николаевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я превзошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».

Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался... Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать—читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.

Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том — вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда

уйдешь,— может обидеться: художник; не дать — тоже может обидеться: все-таки служитель.

В читальном зале — служащие повыше: библиотекари. Одни из них —«замечательные»— обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала на бок голова и так и осталась. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру не известная.

Хорошо бы их описал Гоголь!

У библиотекарей «незамечательных»—начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.

Публика теперь, во время войны, изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это —«белобилетник». Он в роговых пенсне или деликатно подхрамывает. Есть, впрочем, еще государственники. Государственник — это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель: что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а, в общем, зачем торопиться? Успеется.

Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье раненого офицера, с черной повязкой. Рана его заживает. Он молод и румян. Пообедал, прошелся по Невскому. На Невском уже огни совершают победное шествие. Вечерняя биржевка. У Елисеева выставлен виноград в просе.

В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в Публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учит анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождения она приблизительно калужского — широколица, ширококостна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее решение вопроса — добротный материал для любви.

Возле нее живописное tableau*—неизменная принадлежность каждой публичной библиотеки в Российской империи — спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно черен. Щеки впали. Лоб в шишках, рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он — неизвестно. Есть ли право на жительство—неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский неугасимый мученик.

Вблизи стойки библиотекаря с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно и восторженно удивляется книжным словесам и, исполненная восхищения, заговаривает с соседями. Читает она вот почему — ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно — сорок пять. Нормальна ли она? Этим вопросом задаются многие.

Есть еще один постоянный посетитель. Жиденький полковник в просторном кителе, в широких штанах и очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие, усы — цвета

* Изображение, картина (*фр.*).

пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. Во дни оны он был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73-х лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка.

Пишет. Обложен тремя пудами материалов. Любим библиотекарями. Здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска.

Много еще бывает в Публичке всякого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызганный субъект, что ему под стать только писать роскошную монографию о балете. Физиономия — трагическое издание лица Гауптмана, корпус незначителен.

Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды «Русского инвалида» и «Правительственного вестника». Есть провинциальные юноши — во время чтения пламенеющие.

Вечер. В зале полумрак. У столов неподвижные фигуры — собрание усталости, любознательности, честолюбия...

За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко — на Невском — кипит жизнь. Далеко— на Карпатах — льется кровь.

C'est la vie*.

1916 г.

* Такова жизнь (*фр.*).

М. М. ЗОЩЕНКО

ПРАЗДНИК КНИГИ

4 мая тов. Сытников пригласил своих приятелей на пирог.

Пирог был с капустой. Хороший пирог. Сочный. Гости, приятно удивленные, со вкусом жевали, слушая хозяйские разговоры.

— Я, все-таки, передовой человек,— говорил тов. Сытников, польщенный общим вниманием.— Вот, иные люди гостей приглашают на пасху или в день своего рождения, а мне, знаете ли, эти дни вроде как и не праздники. Мне подавай-ка что-нибудь этакое значительное, культурное. Например, день всероссийской печати 4 мая. Так сказать, торжественный день книги. Праздник книги и науки...

Гости с огорчением поглядывали на хозяина. Он явно мешал им кушать и плохо действовал на пищеварение.

— Ей-богу,— говорил хозяин.— Тысячи людей проходят мимо этого праздника шутя, не замечая даже, а мне этот праздник выше всего. Мне, товарищи, даже не сам праздник дорог, мне, товарищи, книга дорога...

Помню я — мамаша еще покойная спрашивала: отчего же ты, дескать, Вася, книгу так обожаешь... А я, представляете себе, мальчишка, щенок, от горшка два вершка, отвечаю: книгу, дескать, я, мамаша, обожаю от того, что книга это — печать.

— Да, уж что говорить,— сказал кто-то из гостей,— большой праздник — день печати.

— Еще бы не большой!— воскликнул хозяин.— Книга! Что может быть драгоценнее книги,

товарищи? Конечно, малокультурный человек книгу спокойно бросит, куда попало, стакан на нее поставит, тарелку, окурок о нее потушит...

Один из гостей, прожевывая пирог, сказал:

— Это верно... Я вот, одного знал... родственник... комод у него, значит, тово... без ножки... Он книгу, тово... подложил заместо ножки...

— Видали?!— с болью воскликнул хозяин.— Видали, какое чучело! Книгу под комод! И, ведь, наверное, сукин сын, хорошую книгу подложил. Ну, подложи словарь французского или немецкого, так ведь нет... Таких людей, прямо, расстреливать нужно... Эх, долго нам еще, товарищи, ждать культурного обращения с книгой... Не понимает еще масса... Я вот вспоминаю одну историю насчет книги. Спас я замечательную книжку. На фронте дело было. Пришли мы, знаете ли, в один фольварк, библиотека там была. Ну, гляжу, на крыльце солдаты рассматривают одну книгу. Этакую огромную книжищу с картинками —«Вселенная и человечество».

— Братцы,— говорю я солдатам,—уступите мне эту книжку. Куда вам ее? На завертку — толста, а я вам за нее осьмушку махорки дам. Ну, уступили солдаты. Взял я эту книжку, спрятал ее в мешок и, понимаете, всю войну берег ее пуще глаза...

— Ну, и что же?— спросили гости.

— Ну, и ничего,— сказал хозяин,— привез эту книгу домой. Книжке цены нет. Замечательная книжка. Какие картины в красках, какая бумага. Да, вот, я вам покажу сейчас...

Хозяин встал из-за стола и пошел в соседнюю комнату. Гости нехотя пошли за хозяином, дожевывая по пути.

— Вот,— сказал хозяин,— некоторые картины я даже вырезал и вставил в рамки.

Хозяин показал рукой на стены.

Действительно, вся комната была увешана иллюстрациями из книги «Вселенная и человечество». Некоторые иллюстрации были вставлены в черные скромные рамки и придавали всей комнате уютный и интеллигентный вид.

Восхищенные гости, осмотрев картины, пошли в столовую докушивать пирог с капустой.

1924 г.

ТЯГА К ЧТЕНИЮ

В библиотеках-то что делается! Это ужасти! Ежедневно масса книг гибнет. Пропадают ценные экземпляры. Разные дорогостоящие учебники. Малинин и Буренин. Разные уники — физика Краевича и так далее.

Кроме пропажи, вырывают особо нужные страницы. Выдергивают рисунки. Пишут на полях разную муру.

Все это, может, срывает культурное начинание. Все это, может, разрушает транспорт. Или не то, что транспорт, а вообще не оправдывает своего назначения.

И, может быть, до того дошло, что читателя и писателя допущать до книг не приходится. Газета так и пишет,— дескать, сейчас очень много развелось книжных вредителей и жучков-читателей. Чего делать на этом фронте — неизвестно. Или по рецептам книги выдавать? Или еще как?

Тут у нас мелькнула одна идея. Не знаем только, что Наркомпрос скажет. А идея вполне жизненная.

Это, как видите, читальное зало. И сидят читатели. И близко к книгам их не допущают. Книги сами по себе, а читатели и писатели тоже сами по себе. А дают им бинокли и подзорные трубки, и через это они со стороны глядят в книги. И таким образом происходит массовое чтение.

Специальная боковая барышня страницы перелистывает. Тут стоит охрана. Тут барьер. Чтоб народ не кидался.

Таким образом, за цельность книги можно поручиться.

Хотя является вопрос, как же бинокли? Не уперли бы эти дорогостоящие инструменты? Хотя в крайнем случае бинокли можно будет к столикам привинчивать, а библиотеку оцеплять охраной.

Надо же на что-то решиться. Жалко же.

1928 г.

М. А. БУЛГАКОВ

СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ?

В провинциальном городишке лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы А.

Изумительно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал мало есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотделовской грымзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось?». В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидал на улице, у входа в мастерские, Банна-Абуль-Аббас-Ахмед-ибн-Могаммед-Отман-ибналя, знаменитого арабского математика в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Талькис-амаль-аль-хисаб», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от двух визитов в молчании бессонной ночи — сперва развязного синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Баньювангис, Баньюмас, Беньер-де-Бигор и через два Баньякавалло — человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря:

— Читаю, читаю,— рассказывал слесарь корреспонденту,— слова легкие: Мечислав, Богуслав

и, хоть убей,— не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Бранецких. Один господин Андриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его Безголовым моллюском и Барсучьей шкурой.

1923 г.

БИБЛИФЕТЧИК

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

> На одной из станций библиотекарь в вагоне-читальне в то же время и буфетчик...
> *Из письма рабкора*

— Пожалте! Вон столик свободный. Сейчас обтеру. Вам пивка или книжку?

— Вася, библифетчик спрашивает, чего нам... книжку или пивка?

— Мне... ти... титрадку и бутиброд.

— Тетрадок не держим.

— Ах, вы... вотр маман... трахтарарах...

— Неприличными словами просють не выражаться.

— Я выра... вы... ражаю протест!

— Сооруди нам, милый, полдюжинки!..

— Герасим Иванович! Полдюжины светлого!

— Воблочки с икрой.

— Вам воблочку?

— Нам чиво-нибудь почитать.

— Чего прикажете?

— Ну, хоша бы Гоголя.

— Вам домой? Нельзя-с. На вынос книжки не отпускаем. Кушайте, то бишь, читайте здеся.

— Я заказывал шницель. Долго я буду ждать?

— Чичас. Замучился...

— Наше вам!

— Урра! С утра здеся. Читаем за ваше здоровье!

— То-то я смотрю, что вы лыка не вяжете. Чем это так надрались?

— Критиком Белинским.

— За критика!

— Здоровье нашего председателя уголка! Позвольте нам два экземпляра мартовского.

— Пст! Эй! Ветчинки сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития.

— Историю движения могу предложить.

— Ну, давай движение. Пущай ребенок читает.

— Я из писателей более всего Трехгорного обожаю.

— Известный человек. На каждой стене, на бутылке опять же напечатан...

— Порхает наш Герасим Иванович, как орел...

— Благодетель! Каждого ублаготвори, каждому подай...

— Ангел!

— Герасим Иванович, от группы читателей шлем наше ура.

— Некогда, братцы... Пе... то-ись читайте на здоровье.

— Умрешь! Па... ха... ронють, как не жил на свети...

— Сгниешь... не восстанешь кви... кви... селью друзей!

— Налей... налей!

1924 г.

НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ

МАЛЕНЬКИЙ ФЕЛЬЕТОН

> Книгоспилка (книжный союз) в Харькове продала на обертку 182 пуда 6 ф. книг, изданных для распространения на селе. Кроме того, по 4 руб. за пуд продавали лавочникам издания украинских писателей «Плуг»
> *Рабкор*

В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавком. Звякнул звоночек, и появился гражданин с рыжей бородой веером. Он сказал:

— Драсьте...

— Чем могу служить?— обрадованно спросил его приказчик.

— Нам бы гражданина Лермонтова сочинение,— сказал гражданин, легонько икнув.

— Полное собрание прикажете?

Гражданин подумал и ответил:

— Полное. Пудиков на пятнадцать-двадцать.

У приказчика волосы встали дыбом.

— Помилте, оно все-то весит фунтов пять, не более.

— Нам известно,— ответил гражданин,— постоянно его покупаем. Заверните экземплярчиков пятьдесят. Пущай ваши мальчики вынесут, у меня тут ломовик дожидается.

Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно:

— К сожалению, всего пять экземпляров осталось.

— Экая жалость,— огорчился покупатель,— ну давайте хуч пять. Тогда, милый человек, соорудите мне еще всемирную историю.

— Сколько экземпляров?— радостно спросил приказчик.

— Да отвесь полсотенки...

— Экземплярчиков?

— Пудиков.

Все приказчики вылезли из книжных нор, и сам заведующий подал покупателю стул.

— Вася! Полка 15-я. Скидай «Всемирную», всю как есть. Не прикажете ли в переплетах? Папка, тисненная золотом...

— Не требуется,— ответил покупатель.— Нам переплеты ни к чему. Нам главное, чтоб бумага была скверная.

Приказчики опять ошалели.

— Ежели скверная,— нашелся наконец один из них,— тогда могу предложить сочинения Пушкина в издании Наркомзема.

— Пушкина не потребуется,— ответил гражданин,— ён с картинками,— картинки твердые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу.

Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчики, кряхтя, выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал:

— До приятного свидания.

— Позвольте узнать,— почтительно спросил заведующий,— вы, вероятно, представитель крупного склада?

— Крупного,— ответил с достоинством покупатель,— селедками торгуем. Наше вам.

И удалился.

1924 г.

БИБЛИОФИЛЫ СМЕЮТСЯ...

А. А. СИДОРОВ

НОВЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «ДОМА СУМАСШЕДШИХ» А. Ф. ВОЕЙКОВА

⟨...⟩ Чудодейственным дурманом
Он меня заворожил,
Чудится, библиоманом
Каждый стал библиофил.

Друг забав старозаветных,
К информациям готов,
В море вырезок портретных
Потонул Адарюков.

Кто поймет, что это значит?
Книжникам надежный брат
Над пучиною маячит
Добродушный Айзенштат.

Рядом новые затеи
На изысканный манер:
Власов распродал музеи,
Россику же — Эттингер.

Книжному предался знаку
Миша — милый егоза,
На театре съел собаку
Адвокат Кара-Мурза.

Все страдают головою —
Шик романтиками пьян,
Миллер — старою Москвою,
Всем, чем можно,— Линдеман.

Ах, пьянительнее водки
Пятилетний книжный ром!
— Процветай навеки РОДКи,
Славный сумасшедший дом!

1925 г.

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ

СОНЕТ-АКРОСТИХ С КОДОЙ

Энтузиастов неизбежный сон
Руководит обычностью недаром.
Искусство пожирающим пожаром
Хулу сожжет и превзойдет закон.

Условности сладчайшая препон!
Гравюрный лист своим ударом даром
Очертит вечно молодое в старом,
Линейным чарам воздвигая трон.

Любезный вождь библиофильской рати,
Единомышленник среди собратий
Резца, бумаги и карандаша —
Блюди и впредь среди минутных мелей
Античный пламень знаний и веселий —

Художеств и наук одна душа
Устремлена к одной и той же цели.

1925 г.

ПОХВАЛА ЭКСЛИБРИСУ

ОДА

Нет, не больной мечтою маниака,
Прорезывая строчек полумрак,—
Тринадцатым созвездьем Зодиака
Над нами ты воздвигнут, Книжный Знак!

Всегда единый, неустанно новый,
Не ты ли воскрешать всегда готов
Геральдики забытые основы
Для новых мыслей и нежданных слов?

Гравюры черно-белою чертою,
Дитя библиофила и мечты,
Забавою изысканно простою
На разноцветный форзац ляжешь ты.

Но только — если человеку книга
Любовница, подруга иль жена,
И если нет блистательнее мига,
Когда она ему обречена,

Волнуется невнятной благодатью
Библиофила трепетная кровь,
Когда экслибрис высшею печатью
Запечатлеет книжную любовь.

1927 г.

ЛИРИЧЕСКИЙ ФЕЛЬЕТОН

К 8-Й ГОДОВЩИНЕ РОДК

Пускай проходит восемь лет,
Мечта судьбу остановила!
На свете преданнее нет
Влюбленности библиофила.

В жар лета, и в мороз зимы,
В осеннюю любую слякоть
Над книгой не устанем мы
Смеяться, радоваться, плакать.
Нет неизведанной тоски
Для сателлитов книжной касты:
Мы — по призванью чудаки,
По назначению — фантасты!
О, шелест ласковых страниц,
Читай, задумывайся, числи!
Любви ко книге нет границ
В прямом и переносном смысле!
Не твой ли нам блестит пример,
О, информатор гениальный,
Наркоминдел наш, Эттингер,
Вполне интернациональный!
И если больше нет царей,
Но подданные не свободны:
Шибанов, древний чародей,
Наш откупщик международный.
Мы пленники чудесных снов,
Мы счастливы совсем невольно,
Что стал наряден Щелкунов
По возвращении из Кельна;
А мы — по воле — москвичи!
В страницах книги — даль вселенных,
Не Миллер ли хранит ключи
От анекдотов сокровенных?
День каждый — радостно богат,
Забьется сердце, как бывало,
Когда приносит Айзенштат
Портфель, набитый до отвала.
В музеях та же радость есть,
Лишь посвященный знает это —
Что не сумеет перечесть
Адарюков своих портретов.

Но все же благосклонен рок,
Владельцев временно меняя,
Над книгами жужжит жучок
Калашникова обгоняя.
    Ты слышишь голос? Как свирель
    Он нежен, сладострастен, лаком —
    Не удивляйся: то Мишель,
    Воркующий над книжным знаком!
И если ты услышишь вскрик,
Влюбленный шепот — страсти вздохи,—
Не бойся: это ищет Шик
Книг романтической эпохи!

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХ

* * *

Дадим обет в день первой годовщины—
Куда бы нас ни бросил буйный рок,
Пусть ежегодно ЛОБа именины
Объединяет книжников кружок.
Минувший год для ЛОБа был победным,
И никакой завистник и злодей
Не назовет, хотя бы в шутку, медным
Почтенный ЛОБ, в котором семь пядей.
Пройдя сквозь все преграды, встряски, сдвиги
Дорогою искусства и труда,
Мы сохраним любовь и нежность к книге,
Ей верными пребудем навсегда.
Подымем выше пенные бокалы
И призовем благословленье муз!
Да здравствует младенец годовалый,
Библиофилов дружеский союз!

1924 г.

8 Зак. 2131

К 100-МУ ЗАСЕДАНИЮ Л. О. Э.*

Как пчела влечется к сотам,
Сладкий мед которых чист,
Так собраньем этим сотым
Упоен экслибрисист. ⟨...⟩

Здесь идет о книжном знаке
Спор — *в масштабе мировом,*
Схоластические драки
Усмиряются с трудом.

Здесь Володей целых трое,
Михаилов тоже три.
Сколько поводов для боя,
Сколько прений до зари...

Командир полка Савонько —
Многих *знаков* кавалер,
Все вояки — только тронь-ка
«Летописца», например?

Александрам счет потерян,
Их, по крайней мере, пять.
Всех не счесть, и я намерен
Вас к романсу отослать:

«Что за хор певал у Яра,
Он Савонькой знаменит,
Соколовского гитара
До сих пор в ушах звенит.

И венчая все доклады
(Не лишенные воды),
Нас, как высшая награда,
Ждут Лукомского «Труды»!»

1927 г.

* Ленинградское общество экслибрисистов (см. примеч.).

А. С. БУХОВ

УБИЙСТВО НА ХОДУ

Неопытные в светских правилах люди измеряют достоинство зубочистки количеством ртов, в которых она побывала. Там некоторые титаны дела и недовыпуска печатной продукции утверждают, что прелесть художественного произведения признается лишь через примечания к нему.

Для этого к каждому роману, поэме или другому опусу обычно плотно примыкает дивизион примечаний, обосновавшийся в конце книги за унылыми окопами замеченных опечаток.

Примечания в конце книги составляются по тонкому, но легко уяснимому замыслу: толкование малопонятных советскому читателю слов считается обременительным для его художественного восприятия, а объяснение обычных слов знаменует собой показатель солидности и углубленности штатных служащих издательства и вольнонаемных комментаторов искусства.

Вот наиболее типичный стандарт таких примечений.

Берется, например, такой отрывок из Байрона:

Смотрите, призрак встал кровавый,
Защитник Трои умерщвлен...
В семье Приама были нравы
Святей и чище...

Примечания к отрывку делаются обычно в таком стиле.

Троя — множественное число от слова — трех.

Приам — древний грек. По некоторым источникам — мужчина. См. «Историю римской религии» на немецком языке. Берлин, 1874, с. 171.

С е м ь я — соединение родственников на почве экономических интересов или бытовых предрассудков.

П р и з р а к — обычай в средние века ходить вне своего тела. Ныне не существует, кроме отдельных буржуазных стран.

Н р а в — деепричастие от слова нравиться, нравный, нервный (см. пословицу «Норов — как боров»).

У м е р щ в л е н — убит тупым орудием на почве классовых разногласий.

Ч и щ е — восклицание от глагола чистить. (Сравни у Шиллера «И чистота твоя приятна».) Чисткой сапог в Голландии занимаются прибрежные жители.

Кроме примечаний в конце текста чрезвычайно популярны в издательских прериях и пампасах и примечания, так сказать, на ходу. Вставленные непосредственно в текст, причем текст в этом случае напоминает провинциальную баню, обставленную лесами для девятиэтажной постройки.

Делается это так. Берется, например, стихотворение Гейне «Незнакомка», спешно перемалывается в комментаторской мясорубке, пересыпается укропом мемуарных лет и встает перед ошеломленным читателем в таком виде:

Златокудрую* красотку (в а р и а н т: тетку)
Ежедневно (еженедельно; см. ч е р н о в и к 1 9 2 3 г.) я** встречаю
Здесь*** в аллее тюильрийской****
Под каштанами***** гуляя (в а р и а н т: простоквашу доедая).

---

* Намек на госпожу М., у которой не было одной ноги.

** Сам Гейне. По некоторым вариантам — В. Шекспир.

***В Гамбурге на улице Рябой Кунигунды.

****Тюильри — предместье Парижа в Лондоне.

***** Чувствуется влияние Оскара Уайльда, который хотя и жил позже, но тоже любил хвойную растительность.

Как видите, читатель, будучи спущены с цепи, комментарии и примечания не всегда все-

таки догрызают текст. В руках же малоопытного комментатора текст иногда даже доходит до читателя в почти неискалеченном виде. Идя навстречу нарастающей издательской потребности неустанной борьбы с текстом, мы предлагаем ниже стандартный образец внутренних и внешних примечаний, применимых к каждому поэтическому и прозаическому опусу.

Для популяризации нашего стандарта прибегаем к широко известному стихотворению Козьмы Пруткова «Из Гейне». Вот оно уже в готовом запакованном и пронумерованном состоянии для помещения его в книге.

Вянет лист*, уходит лето**,
Иней серебрится (вариант: золотится),
Юнкер (вариант: штабс-капитан) Шмидт из пистолета (прим. ред.: маленькая винтовка)
Хочет (см. черновик № 17: не хочет) застрелиться (пр. ред.: повеситься).
Погоди, безумный (ср. у Грибоедова и Пушкина: безумец я, довольно!), снова (т. е. второй раз. Ред.)
Зелень*** оживится...
Юнкер (вариант: генерал-майор)
Шмидт I (умер в 1863 г.— Ред.) честное слово****
Лето воз (зачеркнуто. Ред.) возвратится!

---

* Лист — композитор. См. Крейцерова соната.

** Лета — река в мифологии. По Версальскому договору отошла к Исландии.

*** Витамины. Чаще всего наблюдаются в лимонах и баранине.

****«Слово»— орган либеральной буржуазии в Воронеже, в 60-х годах.

Отдельных лиц и издательства, не желающих пользоваться приводимыми выше стандартами, автор к этому не принуждает, но находит неразумным не воспользоваться совершенно безвозмезд-

но хорошо продуманным и технически совершенным образцом.

1934 г.

ТАНЯ И ТАТЬЯНА

Совсем дня за два, за три до начала занятий Таня осталась на даче одна с ворчливой домработницей Нюшей и в первый раз нарушила честное слово. Недрогнувшим голосом она обещалась маме, уехавшей в город, ложиться спать ровно в одиннадцать («Честное слово, мамуля, мне же не десять лет, а тринадцатый год — я не маленькая, и можешь не беспокоиться!»). И обманула без зазрения совести.

В первый же вечер достала у соседей маленький томик Пушкина и читала «Евгения Онегина» до трех часов утра. Во время письма Татьяны коптила поломанная дачная лампочка, в нос забралась сажа. Но вскоре наступил холодный ответ Евгения, было очень обидно, текли слезы, и не хотелось обращать внимания на мелочи. А когда уже в холодном Петербурге в тоске безумных сожалений к ногам Татьяны упал Евгений, Таня немного успокоилась, с ужасом увидела, что в окошке светло, и в испуге уснула, даже не задув лампочку.

Разбудила ее Нюша тихим, но твердым предупреждением:

— Приедет мать — все обскажу. Нос-то промой, читательница.

Особой паники в Танину душу угроза не внесла. В конце концов, мама — это мамуля, а не кто-нибудь, и ей все можно объяснить. И она всей поймет, особенно если ее поцеловать в ухо во время шепота. Таню волновало другое: поче-

му Ольга не могла вызвать Ленского в коридор, объяснить ему, почему она танцевала с Онегиным, и как не стыдно интеллигентному человеку орать на именинах и до смерти драться при чужих людях недалеко от мельницы. Волновало еще многое, и очень хотелось с кем-нибудь поделиться своими догадками и соображениями. Натягивая чулок на пухлую ногу с невымытой по случаю отъезда матери пяткой, Таня заискивающе сказала Нюше:

— Какую я книжку читала!.. Как будто одна Татьяна Ларина влюбилась с одного Евгения и послала к нему записку через няньку...

— Няньков теперь нет... — сухо заметила Нюша... — Сама поди ставь себе чайник, а мне обед готовить надо...

И вышла.

После чаю Таня побежала к соседям. Все ушли на реку, и дома был только Николай Тихоныч, который где-то служит, очень умный, и ходит в пижаме.

— Я «Евгения Онегина» прочитала. Здравствуйте, Николай Тихоныч, — доглатывая малину, сказала Таня. — Очень интересно. Только маленький кусочек остался. Вам жалко, когда Ленского убивают.

— Прекрасная ария, — зевнув, сказал Николай Тихоныч. — Обязательно сходи. Только когда Козловский поет. У него это лучше.

— А Татьяна, по-моему, хорошая, — отвечая своим мыслям, добавила Таня. — Ольгина сестра.

— Разве? — еще раз зевнул Николай Тихоныч. — Может быть. Рекомендую посмотреть «Кармен». Тебе больше понравится. Цыгане, балет, быки. Быков, впрочем, нет, но тебе понравится.

Четыре дня ходила Таня, наполненная Пушки-

ным, Татьяной, безвременной смертью Ленского, снегом в чеканных стихах и колебаниями Евгения. Хотелось с кем-нибудь поговорить обо всем этом, захлебываясь, торопясь, споря.

Приехав в город, забежала в школу узнать, когда начнутся занятия. На школьном дворе познакомилась с второгодником Игорем Бурыкиным, который уже проходил «Евгения Онегина» по учебнику и насчет разговоров о нем уклонился, заметив только вскользь, что этот самый Евгений— подозрительный типчик.

Попробовала было дома поговорить с мамой, но мама в середине рассказа так несерьезно и сочно поцеловала ее в сладкие от варенья губы, что пропала тема.

И только через шестидневку, которая пролетела как-то незаметно, Таня вернулась из школы радостная и возбужденная, торопливо обедала и после обеда капитально уселась за Пушкина.

— Закрой радио,— распорядилась она.— Тебе говорю, мама. Я читать буду. Завтра у нас в классе Онегина разбирают. И, пожалуйста, не кричи, если я позже сидеть буду. Мне надо.

На другой день в школу Таня пошла на полчаса раньше. Урок русской литературы был первый, и на лицах у ребят еще веял теплый румянец недавнего сна. Сергей Семеныч, хмурый лысый человек с общипанной бородкой и булькающим, как галька на морском берегу, голосом, отложив журнал, сказал:

— Начинаем проработку произведения Пушкина «Евгений Онегин». Все читали?

— Все!— радостно крикнула Таня.

— Подлиза!— толкнул ее в бок Петя Хмырин, серьезный мужчина, выстриженный наголо, рыболов и контрамарочник.— Карьеру строишь?

— Тогда запишем,— продолжал Сергей Семеныч, прохаживаясь по классу.— Пишите сначала, ребята, план...

На партах серыми, желтыми и зелеными птицами взметнулись свежие тетрадки.

— Вот здорово,— зашептала Таня, обернувшись назад.— Вот увидишь, Верка, как это интересно!.. Я два раза читала...

Сергей Семеныч остановился около окна, внимательно посмотрел вниз, как на дворе вырывали водопроводную трубу, порылся в карманах, нашел запонку, которую считал потерянной, и начал:

— «Семья Лариных как представители мелкопоместного, беднеющего дворянства». Записали? «Влияние провинциального неслужилого дворянства на быт полупоместного полудворянства. Точка с запятой. Роль девушки в условиях вырождающегося крупного землевладения при наличии развития городов...»

— Татьяны или Ольги?— тщательно записывая, тихо спросила Таня.

— Всякой,— ответил Сергей Семеныч.— Не перебивай, когда диктуют. «Городов...» Идем дальше. «Влияние иностранной культуры на дворянскую молодежь, получавшую незаконченное высшее образование в условиях общения самодержавной России с западными культурными центрами...»

— Это кто: Онегин?— еще тише спросила Таня.

— Ленский. О нем так и сказано: «Владимир Ленский с душою прямо геттингенской». Пишите: «Геттингенская школа философии как родоначальница индивидуализма в эпоху намечающейся связи между торговыми центрами Европы...» Понятно?..

— Понятно,— вздохнула Таня.— А Онегин был культурный?

— Нет,— сухо и недовольно кинул Сергей Семеныч.— У Пушкина сказано прямо: «Бывало он еще в постели». Этим поэт подчеркивает паразитическое социальное положение Евгения Онегина, который, не имея собственных средств к существованию, жил на крестьянские накопления... Пишите: «Онегин как результат перерождения крупнопоместных молодых людей в тип городского мелкого буржуа перед капиталистическим наступлением города на деревню...»

— Я тебе говорил: типчик! — ехидно шепнул Тане второгодник Игорь Бурыкин.

— А зачем Татьяна вышла замуж, раз она любила Евгения?— не выдержала и дрожащим голосом спросила Таня.

— Я не могу вдаваться в детали,— сердито обернулся Сергей Семеныч.— И вообще, что это за вопросы? У меня три урока на Пушкина... У меня Лермонтов на носу, не считая Гоголя, а меня прерывают... Татьяна вышла замуж за генерала, потому что разоряющееся среднепоместное дворянство, чувствуя свою гибель перед наступающей крупной буржуазией, искало контакта с влиятельной военной средой... Понятно?

— Понятно,— робко ответила Таня и капнула конфузливой слезой на две синие линейки тетради.

Сергей Семеныч посмотрел на часы, обиженно вздохнул, и начал диктовать скороговоркой:

— Пишите, ребята... Осталось всего семь минут... Ну так вот. «Индивидуализм Онегина и его пристрастие к путешествиям как следствие влияния Байрона, типичного идеолога английского фермерства в годы борьбы сельского хозяйства с продвижением фабричной промышленности в

глубь Великобритании...» Ты что, выйти хочешь?

— Выйти,— всхлипнула Таня.— Я платок в пальто забыла...

Шла домой из школы Таня грустная и обиженная. Рядом с ней шагал второгодник Игорь Бурыкин, который никак не мог понять, почему она такая.

— У тебя что: живот болит?— сочувственно спросил он.

— Нет,— вздохнула Таня.— Так... А тебе Татьяна нравится?

Игорь Бурыкин слегка задумался, потом неопределенно ответил:

— Так себе. Мелкопоместная.

На этом они расстались. После обеда Таня подошла к своему столику, взяла томик Пушкина и потянула за розовую закладку — оставалось дочитать всего две-три страницы. Она села за книгу, потом резко отложила ее в сторону и виноватым голосом сказала матери:

— Мамуля, воткни радио... Читать что-то не хочется...

1936 г.

А. М. ФЛИТ

В ГОСТЯХ У ИЗДАТЕЛЕЙ
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

РЕЧЬ ДИРЕКТОРА ИЗДАТЕЛЬСТВА «НЕДОИЗДАТ» НА СОБРАНИИ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи!

Перспективы и возможности осуществления и выполнения грядущего плана необычайны.

Постараюсь краткими, хотя и грубыми, мазками набросать то грандиозное полотно, которое в ближайшем будущем замаячит перед нами.

По тематическому разделу «Чуткость» мы имеем как минимум 40 000 человеко-оттисков, из коих уже в портфеле — 17. На раздел «Льнотеребление и быт» будет затрачено не менее 15 000 писателе-часов и минут, с выходом высококачественной продукции с коэффициентом 0,1.

Великолепно обстоят дела с разделом «Женщина в трикотажных артелях»; здесь мы имеем договор на 10 000 романо-страниц с продолжением в будущем году.

Стихийно растет раздел «Предысторический роман и новелла», где мы уже располагаем от 50 000 до 100 000 человеко-глав, не считая оригинало-томов, откуда они заимствованы.

Радуют и следующие разделы: «Жилищный психологический роман» и «Санитарная бытовая повесть». Мы обеспечили себя 5 000 договоро-романо-новелло-часами. Несколько хуже обстоит дело с разделом «Изживания и переживания», где запроектировано 10 000 человеко-томов и томиков, из коих реальных 4,5.

В отношении подписных изданий могу со всей решительностью заявить, что мы выпустим в будущем году 65-й, 7-й и 43-й томы серии романов «Люди и домашние животные». Выпуск этой серии слегка задерживается по вине переплетологов и примечанилистов.

Что же касается выпуска просто хороших книг по основным, ведущим темам эпохи, то за отсутствием точных данных, издательство ничего определенного сказать не может.

1938 г.

М. И. ЦВЕТАЕВА

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ

Ползет подземный змей,
Ползет, везет людей.
И каждый — со своей
Газетой (со своей
Экземой!). Жвачный тик,
Газетный костоед.
Жеватели мастик,
Читатели газет.

Кто — чтец? Старик? Атлет?
Солдат?— Ни черт, ни лиц,
Ни лет. Скелет — раз нет
Лица: газетный лист!
Которым — весь Париж
С лба до пупа одет.
Брось, девушка!
Родишь —
Читателя газет!

Кача —«живет с сестрой»—
Ются —«убил отца»—
Качаются — тщетой
Накачиваются.

Что для таких господ —
Закат или рассвет?
Глотатели пустот,
Читатели газет!

Газет — читай: клевет,
Газет — читай: растрат.
Что ни столбец — навет,
Что ни абзац — отврат...

О, с чем на Страшный суд
Предстанете: на свет!
Хвататели минут,
Читатели газет!

— Пошел! Пропал! Исчез!
Стар материнский страх.
Мать! Гутенбергов *пресс*
Страшней, чем Шварцев *прах*!

Уж лучше на погост,—
Чем в гнойный лазарет
Читателей корост,
Читателей газет!

Кто наших сыновей
Гноит во цвете лет?
Смеси́тели кровей,
Писатели газет!

Вот, други,— и куда
Сильней, чем в сих строках!—
Что думаю, когда
С рукописью в руках

Стою перед лицом
— Пустее места нет!—
Так значит — *нелицом*
Редактора газет-

ной нечисти.

1935 г., Ванв

М. Е. КОЛЬЦОВ

ИВАН ВАДИМОВИЧ ЛЮБИТ ЛИТЕРАТУРУ

— Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал. Что именно — не помню, но читал. «Тихий Дон»— это разве его? Как же, читал. Собственно, просматривал. Перелистывал... Времени, знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Лично я могу только глянуть на страницу и уже ухватываю основную суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось... Но, в общем, до чего все-таки слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет... Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в какие условия их ставят, если бы вы знали! Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. При этом никакой ответственности, никакого промфинплана. Если бы меня хоть на полгода устроили — чего бы я понаписал! Данные? Что значит — данные! Если тебя партия поставила на определенный участок, на литературу, если тебе дают возможность работать без Эркаи, без обследований, без этой трепки нервов, скажи спасибо — пиши роман! Беспартийный — тот должен, конечно, иметь талант. Но ведь и ему партия помогает. Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть только один? Мне казалось, их было двое... Вообще чудаковатый народ. Совершенно какие-то неорганизованные... Я, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с Союзглинопродуктсбытом. Звоню, спрашиваю Маяковского. «Уехал на шесть недель». Спрашиваю, кто заменяет. Говорят — никто. Что значит — никто?! Человек уехал на шесть недель

и никого вместо себя не оставил... Или он думает, что незаменим? У нас незаменимых нет! Потом я еще раза два звонил — средь бела дня телефон не отвечает. Ну, в общем, застрелился. Это такая публика, что пальца в рот не клади... На днях был я в Моссовете — представьте, кто-то из них заявляется, просит устроить на дачу. И как это с ним разговаривали! «К сожалению, сейчас дачи нет! К сожалению, вам придется обратиться в дачный трест...» Я потом, когда он ушел, спрашиваю: «Почему —«к сожалению»? Что он — через Торгсин не может себе дачи купить? Ведь они кучи золота загребают!..» Издания «Академии»? Я их все подбираю — какая культура! Все сплошь в сатиновых переплетах, с золотом... Говорят, есть еще особые нумерованные экземпляры — шевро или шагрень, что-то в этом роде. Чудесные книжки! «Золотой козел Апулея» или что-то в этом роде, какая прелесть! Или Боккаччо возьмите. Что за мастер слова! Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, как культурно — не придерешься... «Железный поток»? Конечно. Я его еще до революции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался.

1933 г.

И. А. ИЛЬФ

БЛАГООБРАЗНЫЙ ВОР

> Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, у кого ты украл эту книгу.
>
> *Старинная поговорка*

Обычно кража сурово наказывается, или, как говорят, законом наказуется.

Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, носильное платье, примусы или белье с чердаков. Таких людей закон, как говорится, наказует.

Кроме судебной кары, ворам достается и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом.

Но есть множество людей, самых настоящих ворюг, типичных домушников, а между тем ни закон, ни общественность и не пытаются обуздать их преступные порывы.

Это книжные воры. Они опаснее всех.

Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью, в отсутствие хозяев. Торопясь и нервничая, он хватает, что попадается под руку, и убегает.

Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми. Скатерть весьма рваная и рыночной стоимости не имеет. Захваченное впопыхах пальто почти полностью амортизировалось, воротник осыпался, а суконце поиздержалось. От продажи оказавшегося в кармане пальто фотографического портрета какой-то девушки тоже особенных доходов не предвидится. Кроме того, предстоят преследования по закону, возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение.

Таков тяжелый труд профессионального вора.

Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером.

Внешний вид книжного вора весьма благообразен. Он одет с приличествующей своему служебному положению роскошью. На нем шестидесятирублевый костюм и зеленоватые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадет не сразу.

Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем. Его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинами, которые хозяин приберегал себе на завтрак. В конце концов гость съедает эти сардинки и приступает к тому, за чем пришел.

Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах хозяина, он подходит к книжным полкам и развязно говорит:

— Да у вас чудесная библиотека.

— Да,—говорит хозяин беспокойным голосом.

— Прекрасные книги,—продолжает вор,— обязательно нужно взять у вас чего-нибудь почитать.

— Да,— говорит хозяин, хотя ему очень хочется сказать «нет».

— Давно мне хочется прочесть что-нибудь интересное.

С этими словами гость снимает с полки три лучших, на его взгляд, книги и бормочет:

— Почитаем, почитаем!

На взгляд хозяина, эти три книги тоже лучшие. Поэтому он испуганно лепечет:

— Видите ли...

Но вор неумолим.

— Через неделю вы их получите назад. Вот я даже в книжечку запишу. Взял у Мирона Мироновича «Записки Пиквикского клуба», потом...

И он действительно заносит в книжечку ка-

кие-то каракули. Потом прощается с Мироном Мироновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдаст никогда.

Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, дает стрекача.

Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице, никто не спросит сурово:

— Где ты взял эти книги? Немедленно неси назад, не то убью.

И это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.

А. Т. ТВАРДОВСКИЙ

* * *

Есть книги — волею приличий
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать — обычай —
Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне
Любой — уж так заведено—
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно.

Они в чести.
И не жалея
Немалых праздничных затрат,
Им обновляют в юбилеи
Шрифты, бумаги и формат.

Поправки вносят в предисловья
Иль пишут наново, спеша.
И — сохраняйтесь на здоровье,—
Куда как доля хороша.

Без них чредою многотомной
Труды новейшие, толпясь,
Стоят у времени в приемной,
Чтоб на глаза ему попасть;
Не опоздать к иной обедне,
Не потеряться в тесноте...
Но те,—
С той полки:
«Кто последний»?—
Не станут спрашивать в хвосте.

На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время, обожжешься вдруг...

Случайно вникнув с середины,
Невольно всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.

1963 г.

ИЗ ПОЭМЫ «ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ»

〈...〉 Читатель!
Друг из самых лучших,
Из всех попутчиков попутчик,
Из всех своих особо свой,
Все кряду слушать мастер дивный,
Неприхотливый, безунывный.
(Не то, что слушатель иной,

Что нам встречается в натуре:
То у него сонливый вид,
То он свистит, глаза прищуря,
То сам прорваться норовит).
Пусть ты меня уже оставил,
Загнув странички уголок,
Загнул — хоть это против правил —
И даже пусть на некий срок
Вздремнул ты, лежа или сидя,
Устав от множества стихов,
Того не зная и не видя,
Я на тебя и не в обиде:
Я сам, по слабости, таков.

Меня, опять же, не убудет,
Коль скажешь ты иль кто другой:
Не многовато, дескать, будет
Подряд материи такой,
Как отступленья, восклицанья
Да оговорок этих тьма?
Не стать ли им чрезмерной данью
Заветам старого письма?

Я повторю великодушно:
Не хлопочи о том, дружок,—
Читай, пока не станет скучно,
А там — бросай,
А там — молчок.
Тебя я тотчас покидаю,
Поникнув скромно головой.
Я не о том совсем мечтаю,
Чтоб был читатель волевой,
Что, не страшась печатной тины,
Вплоть до конца несет свой крест
И в силу самодисциплины
Что преподносят, то и ест.

Нет, мне читатель слабовольный,
Нестойкий, пуганый милей:
Уж если вник,— с меня довольно,—
Горжусь победою моей,
Волнуясь, руки потирая:
Ты — мой.
И холод по спине:
А вдруг такого потеряю?
Тогда конец и горе мне.

....

Провинциальный ли, столичный —
Читатель наш воспитан так,
Что он особо любит личный
Иметь с писателем контакт;
Заполнить устную анкету
И на досуге, без помех
Призвать, как принято, к ответу
Не одного тебя, а всех.

Того-то вы не отразили,
Того-то не дали опять.
А сколько вас в одной России?
Наверно, будет тысяч пять?

Мол, дело, собственно, не в счете.
Но мимо вас проходит жизнь,
А вы, должно быть, водку пьете,
По кабинетам запершись.

На стройку вас, в колхозы срочно,
Оторвались, в себя ушли...

И ты киваешь:
— Точно, точно,
Не отразили, не учли...
Но вот другой:

— Ах, что там — стройка,
Завод, колхоз! Не в этом суть.
Бывает, их наедет столько,
Творцов, певцов.
А толку — чуть.

Роман заранее напишут,
Приедут, пылью той подышат,
Потычут палочкой в бетон,
Сверяя с жизнью первый том.

Глядишь, роман, и все в порядке:
Показан метод новой кладки,
Отсталый зам, растущий пред
И в коммунизм идущий дед;
Она и он — передовые,
Мотор, запущенный впервые,
Парторг, буран, прорыв, аврал,
Министр в цехах и общий бал...

И все похоже, все подобно
Тому, что есть иль может быть,
А в целом — вот как несъедобно,
Что в голос хочется завыть.

Да неужели
В самом деле
Тоска такая все кругом —
Все наши дни, труды, идеи
И завтра нашего закон?

Ну, как хотите, добровольно
Не соглашусь, не уступлю.
Мне в жизни радостно и больно,
Я верю, мучаюсь, люблю. ⟨...⟩

1950—1960 гг.

А. М. АРКАНОВ

ЭРУДИЦИЯ С ШИНЬОНОМ

У книжного магазина № 3 собралась толпа. По мере того как до открытия магазина оставалось все меньше и меньше времени, толпа постепенно организовывалась в очередь. Разнесся слух, что будут давать полное собрание Александра Дюма, потому что конец квартала.

— Кто за Дюмой крайний?— спросила женщина в венгерском пальто и, услышав положительный ответ от тетки в итальянских сапогах, снова спросила:

— А он толстый?

— Пятнадцать томов.

— Это как раз то, что мне нужно.

— У вас библиотека?— спросил мужчина в индийских ботинках.

— Нет, полки с книгами. Мы недавно въехали в новый дом и организовали общество книголюбов.

— Да, сейчас без литературы не проживешь,— встрял кто-то из-под японского зонтика.

— Особенно без художественной,— сказала член общества книголюбов,— хотя лично мне не все книги нравятся.

— И давно у вас это?

— Года четыре. Раньше я все без разбора читала. Пока меня приятельница не образумила. Оказывается, в художественной литературе своя система имеется. Есть транспортная литература, промтоварная, продовольственная, снотворная... Хотя и здесь свои сложности. Вот, скажем, Чехов. С одной стороны — транспортник, а если по пьесам судить — чистый мебельщик.

— Не понял,—сказали индийские ботинки.

— Что ж тут непонятного? Транспортная литература — это то, что читаешь в трамвае, троллейбусе, в метро. Басни, например, сатира и юмор, рассказики разные короткие. Чтоб не увлечься и остановку свою не проехать. Так в этом смысле Чехов — чистый транспортник. А вот, помню, всю зиму и всю осень я за «Весной» стояла, чешский гарнитур — 24 предмета, по записи, каждый день по четыре часа выстаивали, отмечались. Так очень мне Чехова пьесы понравились — спокойно, неторопливо, сюжета нет, а то, что там стреляется кто-то, так это совсем не страшно, потому что чешские гарнитуры кончились, нас всех на югославские переписали. Они не хуже.

— А кто, с вашей точки зрения, Хемингуэй?—спросили из-под японского зонтика.

— Стопроцентный промтоварник,— сказала женщина в венгерском пальто.— Я его оценила, когда за ковром четыре на шесть стояла, узбекский, перевод с английского, мягкий. Хоть на пол клади, хоть на стену вешай, и недорогой, и легко читается.

— Вот вам с ним повезло,—вмешалась женщина в итальянских сапогах,— а у меня неприятные эмоции вызывает... Помню, давали в нашей «Диете» апельсины. Стою я, «Фиесту» читаю. По три килограмма в одни руки. И вот как дошла до прилавка, там, где он с испанкой в постели лежит, апельсины кончились. С тех пор я его не воспринимаю.

— Бывает,— сказала член общества книголюбов,— у меня такая же история с Достоевским. Что ни начну читать, ничего не достается: то кончится, то магазин закроют, то кто-нибудь

без очереди вопрется... Сложный очень он для меня. С ним ничего не купишь.

— А вот я,— сказали из-под японского зонтика,— всем хорошим на мне обязан книгам. За зонтиком стоял — «Хождение по мукам». За плащом — «Война и мир», за пижамой — «Смерть чиновника». Я потому и люблю за дефицитными товарами стоять — материально и духовно растешь. Недаром говорят, что литература должна быть связана с жизнью.

В дверях магазина появилась бойкая девица в синем халате.

— Товарищи!— крикнула она.— Дюму будут давать только по талонам на макулатуру!

Люди, недовольно гудя, стали расходиться.

— Жаль,— растерянно произнесла член общества книголюбов.— А я как раз сегодня к невропатологу записалась.

Кто-то посоветовал ей учебник французского языка.

— Мерси,— сказала она.— Это я выучила, когда шиньоны давали.

И она ушла. Эрудиция и образованность вызывающе облегали ее плотную фигуру. День только начинался, а всюду уже что-то читали.

1978 г.

Л. И. ЛИХОДЕЕВ

УСИЛИЯ ДУШИ

Недавно одна газета сообщила приятную новость. В каком-то городе, на спектакле «Пиковая дама», Германну неожиданно повезло: ему выпали подряд тройка, семерка и туз. Страсть

пушкинского героя была удовлетворена чудесным образом. Он остался жив и здоров, и все вокруг тоже остались живы-здоровы. Никого не посадили в сумасшедший дом, никто не утопился, никого не хоронили, наоборот, многие женились и зажили в достатке.

Умерло только литературное произведение — гениальное, философское, блистательное.

Веселые люди, напечатавшие эту шутку, весьма удивились, когда я сказал им, что, на мой взгляд,— шутка эта достойна глубокого исследования на тему «Литература и жизнь».

И мы занялись исследованием.

Если бы Фортинбрас в «Гамлете» явился на пять минут раньше,— он бы, как пить дать, спас героя. Симпатичный принц остался бы жив, сел бы на престол и стал бы править с учетом своих благородных представлений о королевском ремесле.

А если бы ревнивый мавр узнал бы на пять минут раньше, что Яго — сволочь? Разве задушил бы он Дездемону?

А Ромео и Джульетта? Ну что стоило их принципиальным родителям замириться на пять минут раньше? Молодые люди поженились бы со всеми вытекающими из этого действия приятными последствиями.

Вообще-то у Шекспира добро обязательно побеждает зло. Но, как правило, на пять минут позже контрольного момента.

И это очень обидно. К этому трудно привыкнуть.

Я помню, во дни отрочества мы по нескольку раз бегали смотреть кинофильм «Чапаев» с настойчивой надеждой на то, что герой не погибнет.

Хоть один раз он же мог не погибнуть?

Я помню разговоры:

— У вас погиб?

— Погиб...

— И у нас погиб... А Сашка говорит, что у них на сеансе — выплыл...

И все знали, что Сашка врет, но все ему завидовали: а вдруг не врет?

Чистая детская наивность, инстинктивное желание добра и справедливости сопровождают нас, когда мы углубляемся в дебри невымышленной жизни, в которой добро и припаздывает, и ошибается адресом, а в некоторых случаях просто не является, будто позабыв о своей обязанности расправляться со злом.

Но детство сопровождает нас не так долго, как хотелось бы. И постепенно наивность превращается в ограниченность, а святое желание справедливости в обыкновенную нравственную самооборону, когда человек походит уже не на малого ребенка, а на взрослого страуса. И хочется ему, чтобы все на свете было хорошо при помощи того, что голова кладется под крыло и думает о совершенстве, закрыв глаза. И хочется, чтобы ничего не происходило такого, на что надо тратить душу, нервы, сердце. А чтобы происходило все как раз наоборот — чтобы Фортинбрас примчался побыстрее — хоть на велосипеде, неважно на чем, лишь бы не тратиться на неприятную гибель симпатичного принца, лишь бы не бередить свою душу, которая не так уж велика, чтобы ее разбазаривать. И хочется, чтобы Германн вытащил не только тройку и семерку, как у Пушкина, но и окончательного туза, что даст ему возможность жениться.

Так вот для тех, кто не хочет нравственных затрат, существует и соответствующая литера-

тура. Там все на месте. Там зло маленькое, как муха, а добро большущее, как лист липучки. И с самого начала муха вязнет в этом листе и с первой строчки ей хана. Там зло глупое, как пень, а добро умное, как лисица. А лисица любой пень обдурит.

Бывают книги, наполненные подобием страстей, подобием борьбы, подобием любви. Подобие борьбы приводит к подобию победы и кажется, будто все это — настоящее.

Но мы умеем читать. Мы понимаем, что чтение — это не просто составление слов из букв, это — удивительное дело, которое делает читающего соучастником событий и тайн, действий и чувств.

Есть книги, которые нам известны еще до того, как мы их прочтем. Мы знаем, чем они начинаются и каков в них конец. Но мы проникаем в эти книги всякий раз как первопроходцы.

Они ведут нас по своим странным дорогам — знакомым и все-таки незнакомым, и приводят к своим тайнам, известным нам с детства.

Мы проходим их прилежно и послушно. Но каждый раз мы видим подробности этих дорог по-новому.

И чем меньше мы тратим себя на этих дорогах,— тем меньше видим.

Добро всегда побеждает зло, и никому еще это не надоедало. Но добро — не липучка для мухи. Добро — это то чувство, которое вызывает в нас книга. Мы оплакиваем героя, и это — добро. Мы хохочем над глупостью, и это — тоже добро. Мы сочувствуем неудачнику, презираем негодяя, симпатизируем простодушию,— и все это добро, которое побеждает зло.

Книги — как люди, у них сходные черты. Бы-

вают книги, закрытые для страстей, и люди, закрытые для чувств. И бывают книги, выражающие чувства, которых не испытывают, и люди, выражающие страсти, которые им не свойственны. Книги — как люди. Их нужно понимать, принимать или остерегаться.

Но мы умеем читать. Мы умеем тратить себя на дорогах книг.

Мне кажется, книги делают за нас то, что не сделали мы потому, что не сумели. Они видят то, что увидели бы мы сами, если бы были внимательнее.

Книги смелее нас. Но где, когда и какая книга была написана не о людях, то есть не о нас?

Книги мудрее нас. Но где, когда и какая книга черпала свою мудрость не у людей? То есть не у нас?

Итак, Германну повезло. Шутка оказалась едкой и глубокой потому, что выразила и сформулировала бытующее отношение к книге как к успокоительной пилюле, не требующей душевных трат.

Но мы умеем читать, а следовательно,— тратиться. Мы не бережем себя — ни над драмой, ни над веселой историей, потому что книга — это жизнь, а жить не тратясь — нельзя.

Это и есть — добро, которое, бывает, припаздывает в книгах, как и в жизни, но никогда не опаздывает в нашем сердце...

1973 г.

ВЕЩИ И КНИГИ

Один дядя повелел выдолбить на камне: «Я — вождь земных царей и царь Ассаргадон.

Владыки и вожди, вам говорю я — горе!» И далее приказал поместить список всех своих безобразий, вытекающих из его должности. И дяди давно нет, и владык и вождей, которых он пугал, давно нет. А камень есть! Что бы мы ни говорили, а дядя этот победил забвение, и теперь с ним ничего не сделаешь. Так он и будет торчать перед глазами и попрекать нас:

— Я-де говорю — горе!— а вы не говорите! Ну, что, голубчики? Улавливаете разницу?

Уж очень он хотел оставить по себе памятник. В сущности говоря, все предметы, созданные людьми,— это памятники. Потому что вещи переживают свих создателей.

Чугун — тоже памятник, и бронза, и способ укладки каменных блоков, и рецепт старого кирпича...

Мы живем среди овеществленных человеческих мыслей, вступивших некогда в спор с забвением и одержавших победу. До чугуна надо было додуматься. И до бронзы. Надо было придумать рычаг. И отыскать глину.

Надо было найти материал, который тлел бы, не сгорая, в электрической лампе, но еще раньше надо было додуматься до того, чтобы заставить электричество просочиться в эту лампу. Надо было отыскать силу, которая подняла бы человека до небес и опустила до дна морского.

Самыми ценными памятниками являются те, которые создавались не из тщеславия или чванства, не с целью возвыситься или унизить, а просто так, в рабочем порядке, без заботы преодолеть забвение. Они-то, собственно говоря, и стали основой наших знаний, нашей культуры, и может быть, даже нашего существования.

Почти все имена людей, создавших эти памят-

ники, исчезли. Но овеществленная мысль их осталась навсегда. Мы знаем, кто придумал паровоз, но не знаем, кто придумал колесо, без которого этот паровоз не поехал бы.

Овеществленные мысли ждали нас, когда мы еще не появились на свет, и сопровождают нас всю жизнь.

Но всех нетерпеливее ожидают нас книги.

Вещи не требуют собеседника. В вещах есть что-то безразличное, может быть, даже высокомерное. Они созданы для того, чтобы служить, и они служат — не бойко, не лениво, а в пределах своего назначения. Им неважно, кому они служат, они появляются на свет без радости и исчезают без печали. Они живы, пока живут, и живут, пока служат.

Книги без собеседника мертвы.

Они могут молчать многие годы. Но когда приходит собеседник — они оживают. У них особая судьба. В отличие от вещей они умеют печалиться и радоваться, потому что, кроме ума и догадливости, в них еще вложены страсти.

Еще нас не было на свете, а в книгах уже жили страсти, те самые, которые охватили нас, когда мы появились на свет. Мы размышляли о своем бытие, а в книгах уже давно были проложены тропы наших размышлений. Мы изобретали велосипеды, а в книгах томилось указание на то, что велосипед в данной области уже давно изобретен.

Книги ждут собеседника. И в отличие от вещей им вовсе не все равно, кто к ним явится в этом качестве. Потому что они бывают скрытны и болтливы, лукавы и простодушны, застенчивы и велеречивы.

Люди одинаково пользуются вещами. Для того,

чтобы напиться, каждый открывает кран в одну и ту же сторону. Но каждый обращается с книгой по-своему. Один читает в ней то, что написано, другой не то, что написано, а то, что хочет прочесть, третий не видит написанного потому, что не желает видеть. Вещи живут во времени. Время живет в книгах.

Время умещается в них на бесконечно малых пространствах, измеренное, исчисленное, предопределенное.

Время мудрее вещей. Книги мудрее времени.

Потому что время, попавшее в книгу, застывает в ней таким, каким оно было на самом деле.

Книги мудрее времени. Они оставляют в себе время, которое ушло. В них мы находим опавшие листья, которые никогда не истлеют, и свежие цветы, которые никогда не увянут.

Время покорно книгам. Иногда оно жжет их и топчет в отчаянии или в злобе.

Но и пепел и грязь остаются на страницах. Время уходит, а книги шелестят крыльями...

Время покорно книгам. Потому что в них встречаются те, кто не совпал во времени. В них встретится тот, кто еще не родился, с тем, кто ушел навсегда. Встретятся, чтобы найти друг друга для беседы...

Поэт сказал о нерукотворном памятнике и о своих книгах:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Александрийский столп — тоже памятник. Он мог бы быть еще выше. Но это не меняет положения.

Годы наплывают на нас, и мы уходим в них, оставляя за собой дела и книги. Истины и заблуждения остаются на страницах ждать собе-

седника, который придет отделить плевела от зерен.

Вероятно, книги тоже собираются на новогодний пир. Им это легко сделать — для этого не нужно сходить с полок. Они собираются на пир самый беззвучный, который можно себе представить, и поднимают молчаливые тосты.

Они поднимают тосты за своих собратьев, которые рождаются и должны родиться, чтобы сказать о нас.

И веселятся веселием мудрости...

1973 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

Основными источниками публикуемых текстов послужили полные собрания сочинений русских писателей, серия «Библиотека поэта» и другие авторитетные издания. В ряде случаев (особенно это касается XVIII века) произведения печатаются по текстам журнальных публикаций (иногда — единственных). Преимущественное внимание уделено в комментариях расшифровке книжных реалий, установлению прототипов книгоиздателей, книготорговцев, библиофилов.

АНТИОХ ДМИТРИЕВИЧ КАНТЕМИР (1708—1744)

САТИРА I. НА ХУЛЯЩИХ УЧЕНИЯ. К УМУ СВОЕМУ//Кантемир А. Д. Собр. стихотворений. Л.: Сов. писатель, 1956. (Б-ка поэта).

При жизни поэта сатирические произведения не публиковались. Впервые изданы в Петербурге «при Академии наук» лишь в 1762 г. Поэт приложил к ним обширный автокомментарий (фрагменты его печатаются в кавычках).

...босы проклали девять сестр —«Всего труднее славы добиться чрез науки. Девять сестр — музы, богини и изобретательницы наук, Юпитера и Памяти дочери...»

...для мертвых друзей ...—«То есть для книг».

Медор — «Щеголь тем именем обозначен».

Сенека Луций Анней (ок. 4 г. до н. э.—65 г. н. э.) — римский философ-стоик.

Пред Егором...Вергилий...— «Егор был славный сапожник в Москве, умер в 1729 г. Вергилий, стихотворец латинский...»

Рексу — не Цицерону... —«Рекс был славный портной в Москве, родом немчин...»

САТИРИК К ЧИТАТЕЛЮ//Там же. К ЧИТАТЕЛЯМ// Там же.

АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ НАРТОВ (1737—1813)

ВЫВЕСКА//Русская эпиграмма второй половины XVII— начала XX в. Л.: Сов. писатель, 1975. (Б-ка поэта).

Первая русская пародия драматурга и переводчика на книготорговое рекламное объявление — в связи с выходом и продажей первого тома «Римской истории» Шарля Роллена в переводе В. К. Тредиаковского (1761), жившего тогда в «двенадцатой линеи», т. е. на 12-й линии Васильевского острова в Петербурге.

НА УЧЕНОГО БОМБАСТА//Там же.

СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ТУЧКОВ (1767—1839)

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЕВНУХ//Поэты 1790—1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. (Б-ка поэта).

Автор эпиграммы — генерал, участник всех войн конца XVIII— начала XIX в., поэт и переводчик.

ВАСИЛИЙ ЛЬВОВИЧ ПУШКИН (1770—1830)

МОНОЛОГ ВРАЛЕВА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ «ВЕЧЕР»//Поэты 1790—1810-х годов. Л.: Сов. писатель, 1971. (Б-ка поэта).

В первой публикации (см. изданный Н. М. Карамзиным альманах «Аониды». 1798—1799. Кн. 3) имеются разночтения с приведенным текстом.

...давай Жан-Жака в руки!—т. е. книги очень популярного тогда в России Руссо (особенно роман «Юлия, или Новая Элоиза»).

ЯКОВ БОРИСОВИЧ КНЯЖНИН (1740—1791)

ОТРЫВОК ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ//Публикуется по: Собр. соч. Якова Княжнина. М., 1803. Т. 5.

При жизни автора не публиковался. См. также нашу публикацию: Вопр. лит. 1978. № 5. В пародийный словотолкователь вошло свыше 300 «терминов»; нами выбраны лишь имеющие касательство к теме книги, чтения.

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СТРАХОВ (1768—?)

БИБЛИОТЕКА ДЕВИЦ И МУЖЧИН//Страхов Н. И. Карманная книжка для приезжающих в Москву стариков и старушек, невест и женихов, молодых и устарелых девушек, вертопрахов... М., 1791. См. также: Очарованные книгой. М.: Книга, 1982.

Страхов — журналист, прозаик, переводчик.

ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769—1844)

ИЗ «ПОЧТЫ ДУХОВ»//Крылов И. А. Соч.: В 2 т. М.: Худож. лит., 1984. Т. 1.

Публикуются отрывки из «Письма VIII. От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку» и «Писем IX и XXX. От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку». Журнал И. А. Крылова, выходивший в 1789 г., скорее следует считать целостным произведением одного автора, «романом в письмах» (см. комментарий С. А. Фомичева к указ. выше изданию); см. также: Разумовская М. В. «Почта духов» И. А. Крылова и романы маркиза д'Аржана//Рус. лит. 1978. № 1.

Иппокрена — мифологический источник, из которого поэты Древней Греции черпали вдохновение (появился на горе Геликон в том месте, где Пегас ударил копытом).

Бабушкины выдумки — по предположению комментатора указ. выше издания, «Сказки бабушки» С. Друковцева (М., 1778).

Бредящий мещанин... сочинения Рифмокрада — сатирические выпады против журнала «Беседующий гражданин» (Спб., 1789) и литературного противника Крылова Я. Б. Княжнина.

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ//Там же.

Руссовы эпиграммы — стихотворения французского поэта Жана Батиста Руссо (1670—1741).

Юнговы Ночи — подразумевается поэма английского поэта Эдуарда Юнга (1683—1765) «Жалоба, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии».

АНОНИМНЫЕ СОЧИНЕНИЯ АВТОРОВ XVIII ВЕКА

О БЕСЕДАХ И КНИГАХ//Праздное время, в пользу употребленное. 1759. Ч. 1.

Журнал издавался в Петербурге группой преподавателей и воспитанников Сухопутного шляхетского кадетского корпуса в 1759—1760 гг.

О ЧТЕНИИ КНИГ//Полезное увеселение, 1760. Янв.

Журнал издавался в Москве в 1760—1762 гг. М. М. Херасковым.

Фонтен Мари Луиз Шарлотт (?—1730)—французская писательница.

ИЗ МИЛЛИОННОЙ//Живописец. 1772. Ч. 1.

На этой улице (ныне ул. Халтурина) помещались в XVIII в. переплетные мастерские, занимавшиеся и продажей книг.

[СЦЕНКА В ГОСТИНОМ ДВОРЕ]//Зритель, 1792. Авг.

Вероятно, упоминаются следующие книги: Вистицкий С. С. Тактика, касающаяся до правильного устроения всех движений сухопутных войск, при сражениях и повсюду. Спб., 1791; Баумейстер Ф. Х. Логика. М., 1760; Рафф Г. Х. Естественная история для малолетних детей. Спб., 1785.

«СТРАДАЛЬЦЫ ЛОМБЕРА...»//Свободные часы. 1763. № 4.

Ломбер и рест — карточные игры.

РОНДО//Вечерняя заря. 1782. Апр.

«НАШ КНИГОЛЮБОВ...»//Там же. Февр.

ИВАН ИВАНОВИЧ ДМИТРИЕВ (1760—1837)

«ПОЧТО ТЫ МАЗОНА...»//Русская эпиграмма второй половины XVII — начала XX в. Л., 1975. (Б-ка поэта).

Мазон — английский ученый Джон Масон (1705—1763), автор книги «О познании самого себя», изданной в России в 1783 г.

«Я РАЗОРИЛСЯ ОТ ВОРОВ!..»//Там же.

Перевод эпиграммы французского поэта Экушара-Лебрена (1729—1807).

АЛЕКСЕЙ ДАМИАНОВИЧ ИЛЛИЧЕВСКИЙ (1798—1837)

ПРОДАЖА КНИГ//Русская эпиграмма второй половины XVII—начала XX в. Л., 1975. (Б-ка поэта).

Автор — поэт, соученик А. С. Пушкина по Царскосельскому лицею.

АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ ИЗМАЙЛОВ (1779—1831)

ГОРДЮШКА-КНИГОПРОДАВЕЦ//Русская басня XVIII—XIX веков. Л.: Сов. писатель, 1977. (Б-ка поэта).

Басня печаталась также под названиями «Павлушка-книгопродавец» и «Матюшка-книгопродавец». Называются различные прототипы «героя» басни: книгопродавцы того времени Яков Васильевич Матюшин, Матвей Иванович Заикин и др.

Оракулы — лубочные книги для гадания.

«Деяния Петра»—наиболее обстоятельный труд XVIII в. И. И. Голикова, посвященный Петру I.

...трех безжалостных сестер... — эринии (евмениды), богини мщения в греческой мифологии (фурии — в римской).

РАЗГОВОР В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ//Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л.: Сов. писатель, 1959. (Б-ка поэта).

Платов М. И. (1751—1818)—генерал, герой Отечественной войны 1812 г.

Витгенштейн П. X. (1768—1842)—русский фельдмаршал.

Манштейн X. Г. (1711—1757)— автор «Записок о России».

«Наука побеждать»— труд А. В. Суворова.

СЛЕНИНА ЛАВКА//Там же.

Сленин И. В. (1789—1836)— видный русский книгоиздатель и книготорговец, выпустил в свет ряд сочинений А. С. Пушкина и литераторов-декабристов.

Каталани Анжелика (1779—1849)— знаменитая итальянская певица.

Хвостов Д. И. (1757—1835)— плодовитейший поэт, постоянная жертва эпиграмм современников.

Гераков Г. В. (1775—1838) — писатель, творчество которого также вызывало сатирические насмешки.

«ВСЕ ТОЛЬКО С КНИГАМИ!..»//Там же.

«КОРНЕТ НАШ ИППОЛИТ...»//Там же.

Грекур Жан-Батист (1684—1743) — французский поэт.

Барков И. С. (1732—1768) — переводчик и поэт, автор многих стихов весьма фривольного содержания, распространявшихся в списках.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ГРИБОЕДОВ (1795—1829) и ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАТЕНИН (1792—1853)

СТУДЕНТ//Грибоедов А. С. Соч. М.: Гослитиздат, 1956.

В. Н. Орлов, комментировавший это издание, полагал, что под именем начинающего литератора Беневольского выведен, скорее всего, писатель М. Н. Загоскин (он подписывал таким псевдонимом свои статьи в 1817 г. в журнале «Северный наблюдатель»). Указываются и другие возможные прототипы этого персонажа. См.: Фомичев С. А. Комедия «Студент» (к творческой истории «Горя от ума»)//От «Слова о полку Игореве» до «Тихого Дона». Л., 1969; Мещеряков В. П. А. С. Грибоедов: Лит. окружение и восприятие (XIX—начало XX в.). Л., 1983. Под именем Прохорова выведен содержатель театральной типографии Похорский.

«Сын Отечества»—«Исторический и политический журнал», основанный Н. И. Гречем в 1812 г. в Москве.

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ ВЯЗЕМСКИЙ (1792—1878)

ИЗ «СТАРОЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ»//Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1883. Т. 8. См. также: Вяземский П. А. Старая записная книжка/Ред. и примеч. Л. Я. Гинзбург. Л., 1929.

Галиани Фернандо (1728—1787)—итальянский политический деятель, экономист, историк, был близок к французским энциклопедистам эпохи Просвещения.

Бутурлин Д. П. (1763—1829) — один из крупнейших русских библиофилов. Подробнее о нем см.: Кунин В. В. Две библиотеки Дмитрия Петровича Бутурлина//Альманах библиофила. 1975. Вып. 2. С. 106—136.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСПОВЕДЬ//Вяземский П. А. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1958. (Б-ка поэта).

Хвостов Д. И. — см. примечания к «Слениной лавке» А. Е. Измайлова.

«Фрол Силин, благодетельный человек»— повесть Н. М. Карамзина.

...календарь Острожского изданья... — возможно, имеется в виду «Хронология» Андрея Рымши, изданная Иваном Федоровым в Остроге в 1581 г.

ИЗ «ПОСЛАНИЯ К И. И. ДМИТРИЕВУ»//Там же.

Глазунов — один из владельцев знаменитой книгоиздательской и книготорговой фирмы, основанной в 1782 г. Скорее всего — Иван Петрович Глазунов (1762—1831).

«Для коих таинством есть всякая печать...»—сравни пушкинское «Нам все еще *печатный лист кажется святым»* (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949. Т. 7. С. 190).

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ//Там же.

ОСИП ИВАНОВИЧ СЕНКОВСКИЙ (1800—1858)

Получивший в 30—40-е годы XIX в. громкую известность (с несколько скандалезным оттенком) под именем «Барон Брамбеус», Сенковский был одновременно и крупнейшим русским ориенталистом-ученым, и блистательным и очень язвительным журналистом. В течение 15 лет (с 1834 по 1849 гг.) он единовластно руководил журналом «Библиотека для чтения» (издатель А. Ф. Смирдин), который составил целую эпоху в истории русского провинциального чтения. Оценка журналистской и критической деятельности Сенковского в нашей литературе весьма противоречива. Наиболее обстоятельно она изучена В. А. Кавериным. См. его книгу «Барон Брамбеус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения» (М., 1966; 1-е изд. вышло в 1929 г.). См. также: Черняева Т. Г. К проблеме читателя в русской журналистике середины 1830-х годов//Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1979. Вып. 2; Морозов В. Д. О. И. Сенковский и его «Библиотека для чтения»//Там же. Незнакомка — впервые очерк опубликован в 1-м томе зна-

менитого смирдинского альманаха «Новоселье», вышедшем в Петербурге в 1833 г. в связи с переездом книжной лавки и библиотеки А. Ф. Смирдина на Невский проспект. Затем вошел в 1-й том Собрания сочинений О. И. Сенковского (Спб., 1858). В нем содержится масса выпадов (не всегда, впрочем, справедливых) против современной автору «промышленной» литературы.

Щукин Двор — примыкавшее к Апраксину Двору бойкое место тогдашней мелочной торговли.

...настоящая вьюга печатной бумаги подула на нас только с 1827 года — очевидно, намек на то, что именно с этого времени начинается интенсивная издательская деятельность А. Ф. Смирдина.

О времена! о словесность!— перефраз восклицания Цицерона в первой речи против Катилины.

Синий мост — до переезда на Невский проспект вблизи его размещалась книжная торговля А. Ф. Смирдина.

Журнал Д. Н. П.— точнее: «Журнал министерства народного просвещения».

Кенкеты — светильники.

«Степенная книга» — исторический памятник XVI в.

«Ядро российской истории»— автор А. И. Манкиев (М., 1770).

«Дворянин-Философ»— соч. Ф. И. Дмитриева-Мамонова (М., 1769).

«Тилемахида»— поэма В. К. Тредиаковского (Спб., 1766).

«Мысли о происхождении и образовании миров»— сочинение Ивана Ертова (Спб., 1805).

«Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный». Спб., 1806—1822. Ч. 1—6.

«Опыт о русских спряжениях»— автор Н. И. Греч (Спб., 1811).

«Музыкальная грамматика»— сочинение Азиоли (Спб., 1826).

«Северная пчела»—«газета политическая и литературная», начавшая выходить с 1825 г. под редакцией Ф. В. Булгарина (затем к нему присоединился Н. И. Греч), снискавшая дурную славу «газеты-доносчицы».

Собрание грамот—«Собрание грамот и договоров», изданное Н. П. Румянцевым в 1811—1827 гг.

Свод законов —«Систематический свод существующих законов Российской Империи в 24 частях», изданный в 1815—1825 гг.

«Гирлянда»— журнал «словесности и музыки», выходил в Петербурге в 1831—1832 гг.

«Два Ивана»— повесть В. Т. Нарежного «Два Ивана, или Страсть к тяжбам» (М., 1825).

«Хромоногия»— возможно, «Всемирная хронология» Н. Свечина (М., 1809).

«Полная диэтетика»— сочинение Г. Рихтера (М., 1790).

...все экземпляры Онегина разобраны... так дайте мне Угнетенную Невинность...— как отмечает В. А. Каверин (см. указ. соч. С. 48—49), сопоставление двух произведений здесь не случайно: оно вызвано иронической рецензией А. С. Пушкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», принятое последним за чистую монету. Ирония Пушкина не была, впрочем, понята и профессиональными критиками и журналистами.

«Дурацкий колпак»— сочинение В. С. Филимонова (Спб., 1828—1838).

«Отгадай, не скажу»— комедия М. И. Попова, вошедшая в его книгу «Досуги, или Собрание сочинений и переводов» (Спб., 1772).

«Два плута в гимназии» (Спб., 1787).

«Великолепный вздор, или Смерть постельной собачки». Пер. с нем. (Спб., 1787).

«История русского народа»— книга Н. А. Полевого; сочетание с предыдущей таит в себе и оценку этого сочинения Сенковским.

«Добродетельная преступница»— пьеса Ф. Матвеева (М., 1792).

«Искусство брать взятки»— как установлено Н. П. Смирновым-Сокольским (см.: Огонек. 1960. № 17. С. 31), автор этой сатирической книги — Э. П. Перцов. Книга вышла в Петербурге в 1830 г.

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ//Сто русских литераторов. Спб.: А. Ф. Смирдин. 1839. Т. 1.

В очерке также дается ироническое описание литературной продукции той эпохи.

Месенияны (или месеньены) — такой термин Сенковский ввел для обозначения жанра грустно-элегических песен: по названию трех элегий французского поэта XVIII в. И. И. Бартелеми.

Черт фон-Аусгабе — «книжный черт» или «черт из книг» (см. нем. Ausgabe — издание, выпуск).

Gelehrter — ученый, часто употребляется в ироническом смысле («ученый сухарь»).

Харон — в греческой мифологии перевозчик умерших через реку до врат Аида.

«...ец...оман...торич...сочн...н...830». — В. А. Каверин расшифровывает эти сокращения так: «Дмитрий Самозванец, роман исторический, сочинение Булгарина 1830 года» (см. указ. соч. С. 51).

Плутон — в греческой мифологии бог подземного царства.

Германий — имеется в виду трагедия Виктора Гюго «Эрнани, или Кастильская честь», переведенная на русский язык и изданная в 1830 г.

«Исповедь» — произведение Ж.-Ж. Руссо.

«Петр Выжигин» — роман Ф. В. Булгарина (в отличие от его же романа «Иван Выжигин», изданного А. Ф. Смирдиным, успеха не имел).

«Рославлев» — роман М. Н. Загоскина «Рославлев, или Русские в 1812 году» (Спб., 1831).

«Шемякин суд» — русская сатирическая повесть XVII в.; ее сюжетом пользовались и составители лубочных книжек XIX в.

ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ КВИТКА-ОСНОВЬЯНЕНКО (1778—1843)

ПАН ХАЛЯВСКИЙ (отрывок)//Квитка-Основьяненко Г. Ф. Пан Халявский. Роман. М.: Худож. лит., 1978.

Украинский писатель был близок к натуральной школе. Роман написан на русском языке.

«Похождения Клевеланда» — соч. Прево д'Экзиля «Английский философ, или Житие Клевеланда, побочного сына Кромвеля». М., 1783—1784.

«Приключения маркиза Г.»— *соч. Прево д'*Экзиля «Приключения маркиза Г..., или Жизнь человека, оставившего свет». Спб., 1756—1765. Ч. 1—6.

«Любовный вертоград, или Непреоборимое постоянство Камберы и Арияны». Пер. с португ. Ф. Эмина. Спб., 1763.

«Бок и Зюльба»— соч. Энинер А. «Бок и Зюлба, повесть аллегорическая». Пер. с португ. и фр. Н. В. Толстого. М., 1774.

«Экономический магазин»— журнал, издававшийся Н. И. Новиковым с 1780 по 1789 г. (40 частей). Редактор А. Т. Болотов.

«Полицион»—«История о славном рыцаре Полиционе, египетском царевиче, и прекрасной королевне Милитине...» М., 1787. Ч. 1—4.

Аттенция — здесь — уважение, благосклонность (фр. attention—внимательность, чуткость).

...отличный песенник... Михайлы Чулкова...— Чулков М. Д. Собрание разных песен. М., 1783. Ч. 1—3. (См. ряд др. изд. XVIII в.).

«Российский феатр, или Полное собрание всех российских феатральных сочинений». Спб., 1786—1794. Ч. 1—43.

Веревкин М. И. (1732—1795) — драматург, пьесы которого часто печатались в указанном выше журнале.

Домине — господин *(лат.)*.

«Мирамонд»—роман Ф. А. Эмина «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (Спб., 1763; затем выдержал в XVIII в. еще ряд изд.).

ПЕТР АНДРЕЕВИЧ КАРАТЫГИН (1805—1879)

«АВОСЬ, ИЛИ СЦЕНЫ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ»//Репертуар русского театра. 1841. Кн. 1.

Автор — драматург и актер.

«Кот-Мурр»— «Записки Кота Мурра» Э.-Т. А. Гофмана, вышедшие впервые в русском переводе в 1840 г.

«Истинное благочестие»— возможно: Гуго Гроций. Истинное благочестие христианское, доказано против безбожников. М., 1768.

«Муж и жена и Друзья нынешнего века»— в Москве в 1790 г. вышла книга А. Бонуаро «Друзья нынешнего века».

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821—1877)

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН И БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ЧТЕНИЯ...//Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем.: В 15 т. Л.: Наука, 1984. Т. 9. Ч. 1.

Отрывки из романа Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой «Три страны света» (из глав IV и VI второй части). Исследователями доказана принадлежность перу Некрасова этих глав (см.: Бессонов Б. Л. Об авторской принадлежности романа «Три страны света»//Некрасов. сб. 1978. Т. 6. См. также его подробный комментарий и указ. выше изд. Высказывалось предположение, что прототипом Кирпичова является Василий Петрович Поляков (умер в 1875 г.), петербургский книготорговец, с которым был связан Некрасов в начале своей литературной и журналистской деятельности (в его магазине, в частности, продавался первый поэтический сборник поэта «Мечты и звуки» 1840 г.). Однако, как справедливо замечает комментатор (т. 9, ч. 2, с. 321), «в истории Кирпичова соединились факты из биографий ряда книготорговцев — Смирдина, Ольхина, А. И. Иванова, А. А. Плюшара». См. также неоконченный роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (указ. соч. 1843—1848. Т. 8), в котором также выведены типы книгопродавцев-«промышленников», напоминающих Кирпичова.

«Воспоминания об Адаме и Эве» — как считает автор комментария, имеются в виду изданные М. Д. Ольхиным в 1846—1847 гг. «Воспоминания» Ф. В. Булгарина.

Жил в Петербурге богатый барин... — Д. В. Григорович в «Литературных воспоминаниях» (М., 1961. С. 85) связывает эту историю с именем все того же В. П. Полякова, который, работая старшим приказчиком в какой-то книжной лавке, «уносил ежедневно по одному тому, выбирая их таким образом, чтобы разрознивать полное собрание сочинений такого-то автора. Так продолжал он долгое время. Хозяин умер. Наследники принялись за оценку библиотеки, которая оказалась разрозненной; лавка пошла за бесценок. Поляков купил ее, вставил один за другим недостающие томы и пошел торговать с легкой руки».

Однако, как указывают другие источники, Поляков, служивший у И. И. Глазунова, отделился от него, не оставив по себе дурной памяти. См.: Материалы для истории русской книжной торговли. Спб., 1879. С. 35.

Полное собрание сочинений князя Хвощовского...— как считает Б. Л. Бессонов, речь может идти о двух изданиях: с одной стороны, сочетание титула и фамилии намекает на упоминавшегося выше графа Д. И. Хвостова, издавшего семитомное собрание своих сочинений (Спб., 1828—1834); с другой — вышедшие в 13 частях в 1828—1839 гг. «Некоторые забавы отдохновений Николая Назарьевича Муравьева, статс-секретаря его императорского величества...», которого современники называли «Хвостовым в прозе».

Средство выращать черные усы...», «Средство сохранить навсегда густые волосы...»—пародируются типичные заглавия лубочно-шарлатанских книжонок, которыми был заполнен книжный рынок того времени. Кстати, книги подобного рода выпускал и В. П. Поляков.

«Тайна быть здоровым, богатым, долговечным и счастливым в отношении к прекрасному полу»—книга подобного же рода. Напоминает поделку «Нет более несчастья в любви, или Истинный и вернейший ключ к женскому сердцу» (Спб., 1847).

ПРЕКРАСНАЯ ПАРТИЯ (отрывок)//Там же. Л., 1981. Т. 1.

Фудрас—Фудра Т. Л. О. (1800—1872)— французский писатель, автор многочисленных романов из жизни светского общества.

ПРОПАЛА КНИГА!//Там же. Т. 2.

Считается, что непосредственным поводом создания стихотворения, вошедшего в цикл «Песни о свободном слове», послужил факт запрещения цензурой очерков А. С. Суворина «Всякие» (Спб., 1866). Вернее все-таки предположить, что навеяно оно целым рядом цензурных инцидентов того времени.

СЕЛЬСКАЯ ЯРМОНКА (из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»)//Там же. Л., 1982. Т. 5.

С Лубянки — первый вор!— на Лубянке и прилегающей к ней Никольской улице размещались лавочки лубочников-книготорговцев, наводнивших крестьянскую Россию целым потоком низкосортной «серобумажной» книжной продукции. Там запасались «книжным товаром» офени и коробейники.

Блюхер Г. Л. (1742—1819) — портрет прусского генерал-фельдмаршала, отличившегося при Ватерлоо, был издан в виде лубочной картинки, распространявшейся по ярмаркам.

Архимандрит Фотий (1792—1838) — церковный деятель, имевший большое влияние на Александра I.

Разбойник Сипко — дело ловкого мошенника, арестованного в 1860 г., возбудило всеобщее любопытство. Отзвуки этого дела попали в лубочную литературу.

«Шут Балакирев»— лубочная книжка о слуге Петра I, произведенном при дворе Анны Иоанновны в шуты.

...Милорд глупый...—«Повесть о приключениях английского милорда Георга и брандебургской маркграфине Фридерике-Луизе» Матвея Комарова — одна из самых популярных лубочных книг, выдержавшая с 1782 по 1917 г. около двухсот изданий.

Белинского и Гоголя с базара понесет — в ранней редакции рядом с этими именами стояло имя Пушкина. (Там же. С. 287).

ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ КУРОЧКИН (1831—1875)

ПРИРОДА, ВИНО И ЛЮБОВЬ//Курочкин В. С. Собр. стихотворений. Вступ. ст., ред. и примеч. И. С. Ямпольского. Л.: Сов. писатель, 1947. (Б-ка поэта).
«МОЛОДАЯ ЖЕНА!..»//Там же.

Как и следующее стихотворение, опубликованное в том же сборнике, пародирует статьи, появившиеся после выхода романа Н. Г. Чернышевского в охранительной прессе («Северной пчеле» и др.). Авторы этих статей и рецензий пытались дискредитировать Чернышевского и его героев в глазах читателей, обвиняя роман в «безнравственности» и прочих грехах.

ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ МИНАЕВ (1835—1889)

ПРОВИНЦИАЛЬНЫМ ФАМУСОВЫМ//Поэты «Искры». Л.: Сов. писатель, 1955. Т. 2. (Б-ка поэта).
ЖАЛОБА УЕЗДНОЙ КРАСАВИЦЫ//Там же.

«Тон — настоящий мове...»— от франц. mauvais ton — дурной тон.

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ.—«Герой» сатирической утопии — известный издатель и журналист Алексей Сергеевич Суворин (1834—1912). Печальную славу снискал он в роли редактора консервативной газеты «Новое время» (с 1876 г.), которую Щедрин называл газетой «Чего изволите?». Основав в 1878 г. в Петербурге книжный магазин и типографию, он становится одним из крупнейших книгоиздателей России. Поэт перечисляет популярные журналы и газеты 70-х гг., которые со временем все перейдут в руки Суворина (современники называли его «Наполеоном книжного дела»). Такое пророчество, к счастью, не оправдалось.

ЯКОВ ПЕТРОВИЧ ПОЛОНСКИЙ (1819—1898)

БИБЛИОГРАФЫ//Полонский Я. П. Снопы: Стихи и проза. Спб., 1871.

Апраксин двор — в нем размещались (особенно до пожара 1863 г.) многочисленные развалы и лавчонки петербургских букинистов.

ГЛЕБ ИВАНОВИЧ УСПЕНСКИЙ (1843—1902)

КНИГА//Успенский Г. И. Полн. собр. соч. М.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 2.

Рассказ вошел в сборник оччерков Успенского «Нравы Растеряевой улицы»— первое крупное произведение писателя.

«Путешествие капитана Кука...»— книга о путешествиях английского мореплавателя капитана Джеймса Кука (1728—1779). Впервые в русском переводе вышла в Петербурге в 1791—1800 гг. в шести частях под названием «Путешествие в Южной половине земного шара и вокруг оного, учиненное в продолжение 1772, 1773, 1774 и 1775 годов

английскими королевскими судами Резолюциею и Адвентюром, под начальством капитана Иакова Кука. Пер. с фр. А. Голенищев-Кутузов». Позднее это «Путешествие» не раз выходило в виде переделок и сокращений. По-видимому, с одним из таких изданий и встретился мальчик Алифан.

ОЧЕНЬ МАЛЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕК//Там же. Т. 4.

Как сообщает комментатор этого тома, «есть сведения, что прототип «читателя»— старый приятель Успенского, П. В. Григорьев — помещик Саратовской губ., участник революционного движения 70-х гг. Успенский знал Григорьева со студенческих лет, был свидетелем его опытов по устройству у себя в имении земледельческой артели...» (с. 705).

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (1826—1889)

ЧИТАТЕЛЬ//Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 12 т. М.: Худож. лит., 1974. Т. 16. Кн. 2.

Входит в щедринский цикл «Мелочи жизни» (1886—1887). Проблема читателя в творчестве Щедрина не раз привлекала к себее внимание исследователей. См. примечания к указ. изд., Прозоров В. В. Читатель и литературный процесс (Саратов, 1975) и др. материалы.

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ (1860—1904)

УМНЫЙ ДВОРНИК//Чехов А. П. Полн. собр. соч.: В 30 т. Соч. в 18 т. М.: Наука, 1975. Т. 2.

Впервые — Зритель. 1883. № 16 под заглавием «Мораль».

ЧТЕНИЕ//Там же.

Впервые—Осколки. 1884, № 12 под заглавием «Осторожней с огнем!».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ// Там же. Т. 8.

...третий том Писарева...— имеются в виду «Сочинения» Д. И. Писарева, изданные Ф. Ф. Павленковым в Петербурге в 1866—1869 гг., за что издатель поплатился ссылкой в Вятскую губ. (1869—1877).

«Родное слово» — книга К. Д. Ушинского для первоначального обучения. 1-е издание вышло в 1864 г., затем не раз переиздавалась.

...десять томов Михайловского... — некоторое преувеличение: собрание сочинений известного критика и публициста Н. К. Михайловского вышло в это время в 4-х томах (1879—1885).

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ СТАХЕЕВ (1840—1918)

ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ. Повесть о книгах и книжниках. (Отрывок.)//Стахеев Д. И. Собр. соч. Спб.: Товарищество М. О. Вольф, 1902. Т. 2.

Повесть посвящена Николаю Николаевичу Страхову (1828—1896), литературному критику, философу, близкому другу Л. Н. Толстого. Страхов — один из крупнейших русских библиофилов. Его замечательное собрание хранится ныне в Научной библиотеке им. А. М. Горького Ленинградского гос. университета (см.: Белов С. В., Белодубровский Е. Б. Библиотека Н. Н. Страхова//Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник, 1976. М., 1977. С. 134—141.

...Боннивар, узник Шильонского замка... — герой поэмы Байрона «Шильонский узник», переведенной В. А. Жуковским.

ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ АЗОВ (1873—?)

КНИЖНЫЙ ПОТОП//Речь. 1908. 20 окт. За подписью Владимир Азов (псевдоним В. А. Ашкенази) в начале века получил широкую известность, печатал остроумные фельетоны, беседы на злобу дня и театральные рецензии.

Нат Пинкертон — сыщик, герой многочисленных бульварных романов с продолжениями, выходивших отдельными выпусками в начале века.

Екатерининский канал — ныне канал Грибоедова в Ленинграде.

Лигатура — одно из значений — соединение элементов двух букв в один знак. По-видимому, автор имеет в виду несамостоятельные, компилятивные, низкопробные книги.

КНИГА//Речь. 1911. 5 июня.

Главное управление по делам печати — образованное в 1865 г. при министерстве внутренних дел ведомство, руководившее всеми цензурными комитетами.

ПЕТР ПЕТРОВИЧ ГНЕДИЧ (1855—1925)

КНИЖНАЯ ПЫЛЬ//Россия. 1910. 18 июля.

Писатель, драматург, видный театральный деятель П. П. Гнедич оставил интереснейшие воспоминания о театральной жизни России почти за полвека (Книга жизни. Л., 1929).

Полный Ровинский... — имеется в виду пятитомное издание знаменитого труда Д. А. Ровинского «Русские народные картинки» (Спб., 1881). Особенно ценится знатоками 5-й том, в котором воспроизведено несколько сот лубочных картинок XVIII—XIX вв.

...Шекспир in folio — первое полное собрание сочинений Шекспира, вышедшее в 1632 г., представляющее очень большую ценность.

...падение Штаубаха — т. е. крупнейшего водопада в Швейцарии.

Милль Д. С. (1806—1873) — английский философ и экономист; в шестидесятые годы XIX в. его труды издавались в России.

Гамильтон В. (1788—1856) — английский философ.

САША ЧЕРНЫЙ (1880—1932)

Все публикуемые произведения (за исключением одного) печатаются по: Саша Черный. Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1960. (Б-ка поэта).

ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ//Русская стихотворная сатира 1908—1917-х годов. Л.: Сов. писатель, 1974. (Б-ка поэта).

Магадэва — одно из индийских божеств.

Барков — см. примеч. к эпиграмме А. Е. Измайлова «Корнет наш Ипполит».

Сонник с ярмарки ирбитской... — в гор. Ирбите Пермской губ. проводились ежегодные ярмарки, где в изобилии продавались лубочные поделки типа сонников, гадательных книг и проч.

Вербицкая А. А. (1861—1928) — писательница, автор многочисленных романов преимущественно мелодраматического свойства, необычайно популярных в начале века в буржуазно-мещанской читательской среде.

Сыщик Нат — см. примеч. к фельетону В. Азова «Книжный потоп».

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО (1881—1925)

ТРУДНОЕ ЗАГЛАВИЕ//Сатирикон. 1908. № 1.

АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ БУХОВ (1889—1937)

ЛИЦО КНИГИ//Заря. 1915. № 10.

Интересна перекличка с мыслью П. А. Вяземского в «Старой записной книжке»: «А можно ли счесть злоупотребление слов в заглавиях книг, журналов и проч.» (см. выше). Бухов начал свою деятельность в «Сатириконе»; в советское время принимал участие в журналах «Чудак», «Бегемот», «Крокодил», выпустил свыше десятка отдельных книг. Он высмеивал модное поветрие на броские, «завлекательные» заглавия книг того времени. В рассказе «Лицо книги» чувствуется скрытая ирония по поводу А. Т. Аверченко (как раз в это время Бухов расстался с журналом «Сатирикон», который редактировал Аверченко), любившего давать своим книгам эпатирующие заглавия. Так, например, можно предположить, что названия упоминаемых в рассказе книг «Пуговицы в уксусе» и «Веселые брюки» пародируют заглавие книги Аверченко «Веселые устрицы», а «Случай с банкой» — название сатириконского альманаха «Пауки в банке».

КНИГИ//Бухов А. С. Рассказы. Пародии. Памфлеты. М.: Моск. рабочий, 1972.

СЕРГЕЙ РУДОЛЬФОВИЧ МИНЦЛОВ (1870—1933)

ЗА МЕРТВЫМИ ДУШАМИ//Минцлов С. Р. За мертвыми душами: Очерки. Берлин, 1921.

Печатается отрывок из первого очерка, посвященного

путешествию автора за книгами и рукописями в Ельнинский уезд Смоленской губ. в начале XX в. Подробнее о Минцлове и его библиофильской повести см.: Блюм А. В., Мартынов И. Ф. С. Р. Минцлов и его библиофильская повесть// Альманах библиофила. 1975. Вып. 2. Автор повести—известный русский библиофил, библиограф, писатель.

«Москвитянин» — журнал славянофильского направления, издававшийся М. П. Погодиным в Москве с 1841 по 1856 г.

«Современник»— журнал, основанный А. С. Пушкиным в 1836 г., издавался в Петербурге до 1866 г.

«Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках». М., 1831—1834. Кн. 1—4; «Русские простонародные праздники и суеверные обряды». М., 1837—1839. Вып. 1—4.— Труды известного фольклориста и этнографа И. М. Снегирева (1793—1868).

«Английское творение» Юнга — эта книга английского поэта Эдуарда Юнга (1683—1765) неоднократно упоминается в русской литературе. Она пользовалась большой популярностью в провинциальной среде. Гоголевский почтмейстер из «Мертвых душ», «впадая более в философию», читал «весьма прилежно Юнговы ночи, из которых делал весьма длинные выписки по целым листам».

Авенариус Н. П.— брат известного в свое время беллетриста В. П. Авенариуса.

Бурнашев В. Воспоминания из мое частной и служебной деятельности (1834—1850). М., 1873.

...путешествия в Нижний и в Киев Долгорукого...— очевидно, Минцлов имеет в виду следующие книги поэта И. М. Долгорукого: Журнал путешествия из Москвы в Нижний, 1813 года. М., 1870; Путешествие в Киев в 1817 году. М., 1870.

«Житие и славные дела государя императора Петра Великого, самодержца Всероссийского...» Венеция, тип. Д. Феодози. 1772. Ч. 1—2. Книга долгое время ошибочно приписывалась Дмитрию Феодози. Автор — Антонио Кантифоро.

...письма царевича Алексея к его родителю. Одесса, 1849.

ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ (1894—1941)

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА//Журнал журналов. 1916. № 48.

Под псевдонимом «Баб-Эль». В газете «Литературная Россия» (1964. 13 марта) очерк был перепечатан с некоторыми пропусками. Печатается по тексту первой публикации.

Вечерняя биржевка — вечерний выпуск одной из крупнейших газет (1880—1917) «Биржевые ведомости».

«Аполлон»— литературно-художественный журнал, выходивший в Петербурге — Петрограде с 1909 по 1917 г. под редакцией С. К. Маковского.

«Русский инвалид»— петербургская газета, выходившая с 1813 по 1917 г. В 1916 г. была органом Генерального штаба и широко освещала события первой мировой войны.

«Правительственный вестник»— официальная петербургская газета (1869—1917), орган министерства внутренних дел.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО (1895—1958)

ПРАЗДНИК КНИГИ//Желонка. 1924. № 9.

ТЯГА К ЧТЕНИЮ//Пушка. 1928. № 44.

В отдельные издания эти произведения писателя не входили.

...день всероссийской печати 4 мая — так у автора.

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ (1891—1940)

СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ? //Накануне. 1923. 15 июля.

Напечатан в цикле «Самоцветный быт»; затем вошел в сборник рассказов писателя, изданный ленинградским журналом «Смехач» в 1926 г. См. также нашу публикацию: Вопр. лит. 1982, № 3. Рассказ вошел также в сборник писателя «Самоцветный быт», выпущенный в серии «Библиотека „Крокодила“» в 1985 г.

Энциклопедический словарь, изданный Ф. А. Брокгаузом и И. А. Ефроном,— наиболее полное дореволюционное

энциклопедическое издание (82 основных и 4 дополнительных тома), выходившее в Петербурге с 1890 по 1907 г. Булгаков с большим уважением относился к этой энциклопедии и часто обращался к ней. См.: Чудакова М. О. Библиотека М. А. Булгакова и круг его чтения//Встречи с книгой. М., 1979.

БИБЛИФЕТЧИК//Гудок. 1924. 7 окт.

Я из писателей более всего Трехгорного обожаю...— обыгрывается название марки пива «Трехгорное», выпускавшегося в 20-х гг.

— *Умрешь! Па...ха...ронють...*— строки из стихотворения воронежского поэта, ближайшего друга Алексея Кольцова, Андрея Порфирьевича Серебрянского (1808—1838) «Быстры, как волны, дни нашей жизни...», ставшего популярной песней в среде студентов и семинаристов.

НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ//Там же. 1924. 21 окт.

Фельетоны написаны на основе писем рабкоров и имеют под собой реальную основу: случаи бюрократического отношения к библиотечному обслуживанию населения и неправильного распределения книжной продукции в период нэпа.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СИДОРОВ (1891—1978)

НОВЫЙ ОТРЫВОК ИЗ «ДОМА СУМАСШЕДШИХ» А. Ф. ВОЕЙКОВА//Сидоров А. А. Друг книги — советский библиофил. М.: Книга, 1981.

Впервые вышел отд. изд. в Москве в 1925 г. тиражом в 66 экз. (Русское общество друзей книги). Библиофильская пародия на памфлет А. Ф. Воейкова (1814). Автор — член-корреспондент АН СССР, книговед и историк искусства.

Адарюков В. Я. (1862—1932)— искусствовед, библиофил, собиратель и исследователь русской гравюры.

Айзенштат Д. С. (1880—1947)— один из активнейших деятелей РОДК, библиофил и антикварий.

Эттингер П. Д. (1866—1948)— искусствовед.

Миллер П. Н. (1867—1943)— председатель общества «Старая Москва», крупный коллекционер.

Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХУ.— Сонет-акростих опубликован в специальной памятке Ленинградского общества библиофилов

под тем же названием, напечатанной в 1925 г. в количестве 100 экз. Украшена маркой работы С. Чехонина.

ПОХВАЛА ЭКСЛИБРИСУ//Сидоров А. А. Указ. соч.

Впервые — в памятке, посвященной 25-му заседанию Секции изучения книжного знака РОДК (М., 1927). См. также: Брков П. Н. История советского библиофильства (1917—1967). М.: Книга, 1983. В ней частично процитированы образцы библиофильского фольклора 20-х гг.

ЛИРИЧЕСКИЙ ФЕЛЬЕТОН//Впервые в юмористической однодневной газете РОДК «Наша пятница», вышедшей 16 ноября 1928 г. См. также: Берков П. Н. Указ. соч. (отрывок). В нем упомянуты активные участники этого общества — библиофилы, искусствоведы, деятели книги и книжной антикварной торговли: *П. Д. Эттингер* — см. выше; *П. П. Шибанов* (1864—1935) — крупнейший антикварий, знаток старой книги («откупщик международный»— намек на то, что с 1923 г. Шибанов заведовал антикварным отделом аукционерного общества «Международная книга»); *Щелкунов М. И.* (1884—1938) — крупный советский издательский работник, автор капитального труда «История, техника, искусство книгопечатания» (М., 1926); *Миллер П. Н., Айзенштат Д. С., Адарюков В. Я.*— см. выше; *Мишель*— М. С. Базыкин, собиратель экслибрисов; *...жужжит жучок...*— по предположению П. Н. Беркова (см. указ. соч. С. 130), намек на историка Москвы И. Н. Жучкова; *Калашников И. В.*— «страстный, неисправимый библиофил» (см. там же). *Шик М. Я.*—переводчик, собиратель книг французских романтиков.

ЭРИХ ФЕДОРОВИЧ ГОЛЛЕРБАХ (1895—1942)

«ДАДИМ ОБЕТ В ДЕНЬ ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЫ...»// Мартынов П. Н. Полвека в мире книг. Л.: Наука, 1969.

Стихотворение было прочитано 11 ноября 1924 г. по случаю первой годовщины ЛОБа. «Семь пядей»— подразумеваются семь членов Совета ЛОБа. Э. Ф. Голлербах — искусствовед, библиофил, один из организаторов Ленинградского общества библиофилов (ЛОБ).

К 100-МУ ЗАСЕДАНИЮ Л. О. Э.//Там же. С. 130—131.

Автор обыгрывает имена активных участников Обще-

ства: «три Володи»— В. К. Охочинский, В. С. Савонько, В. А. Бриллиант; «три Михаила»— М. Я. Лерман, М. С. Базыкин, М. И. Соломонов. «Труды» Ленинградского общества экслибрисистов выходили под редакцией В. К. Лукомского.

АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ БУХОВ (1889—1937)

УБИЙСТВО НА ХОДУ.— ТАНЯ И ТАТЬЯНА//Бухов А. С. Жуки на булавках. М.: Худож. лит., 1971.

АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ ФЛИТ (1891—1954)

В ГОСТЯХ У ИЗДАТЕЛЕЙ//Ал. Флит. Таланты на изнанку. Л.: ГИХЛ, 1940.

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА (1892—1941)

ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТ//Цветаева М. И. Избр. произведения. М.; Л.: Сов. писатель, 1965. (Б-ка поэта).

Ползет подземный змей...— парижское метро, которым навеяно это стихотворение.

Гутенбергов пресс—подразумевается изобретение И. Гутенбергом наборного книгопечатания в середине XV в.

Шварцев прах — порох, изобретенный в Европе монахом Бертольдом Шварцем (XIV в.).

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ КОЛЬЦОВ (1898—1942)

ИВАН ВАДИМОВИЧ ЛЮБИТ ЛИТЕРАТУРУ//Кольцов М. Е. Избр. произведения: В 3т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 1.

Входит в цикл фельетонов Кольцова «Иван Вадимович, человек на уровне».

Эркаи — Рабоче-крестьянская инспекция.

ИЛЬЯ АРНОЛЬДОВИЧ ИЛЬФ (1897—1937)

БЛАГООБРАЗНЫЙ ВОР//Ильф И., Петров Е. Собр. соч.: В 5 т. М.: Худож. лит., 1961. Т. 5.

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ (1910—1971)

«ЕСТЬ КНИГИ — ВОЛЕЮ ПРИЛИЧИЙ...»— Из поэмы «За далью—даль»//Твардовский А. Т. Избр. произведения. М.: Худож. лит., 1981. (Б-ка классики.)

АРКАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ АРКАНОВ (р. 1933)

ЭРУДИЦИЯ С ШИНЬОНОМ//В мире книг. 1978. № 4.

ЛЕОНИД ИЗРАИЛЕВИЧ ЛИХОДЕЕВ (р. 1921)

УСИЛИЯ ДУШИ//В мире книг. 1973. № 2.
ВЕЩИ И КНИГИ//Там же. 1975. № 1.

«Я — вождь земных царей и царь Ассаргадон...» — начало стихотворения В. Я. Брюсова «Ассаргадон».

СОДЕРЖАНИЕ

КНИЖНАЯ ПЫЛЬ. Начало XX века

СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ? Из советской «библиосатиры»

Составитель

Арлен Викторович Блюм

КНИЖНЫЕ СТРАСТИ

Сатирические произведения
русских и советских писателей
о книгах и книжниках

Зав. редакцией Т. В. Громова
Редактор М. Я. Фильштейн
Художник Д. Ф. Терехов
Художественный редактор Н. В. Тихонова
Технический редактор Е. Н. Волкова
Корректор О. И. Поливанова

НК

Сдано в набор 14.10.86. Подписано к печати 26.01.87. А02422. Формат 70×90 1/32. Бум. офс. № 1-70 г. Гарнитура Тип таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отт. 10,82. Уч.-изд. л. 11,24. Тираж 100 000 экз. 1-й з. (1—50.000 экз.). Изд. № 4418. Заказ 2131. Цена 90 к.

Издательство «Книга»
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома при
Государственном Комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
129041, Москва, ул. Б. Переяславская, 46.

90 коп.

ВСЕСОЮЗНОЕ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ

